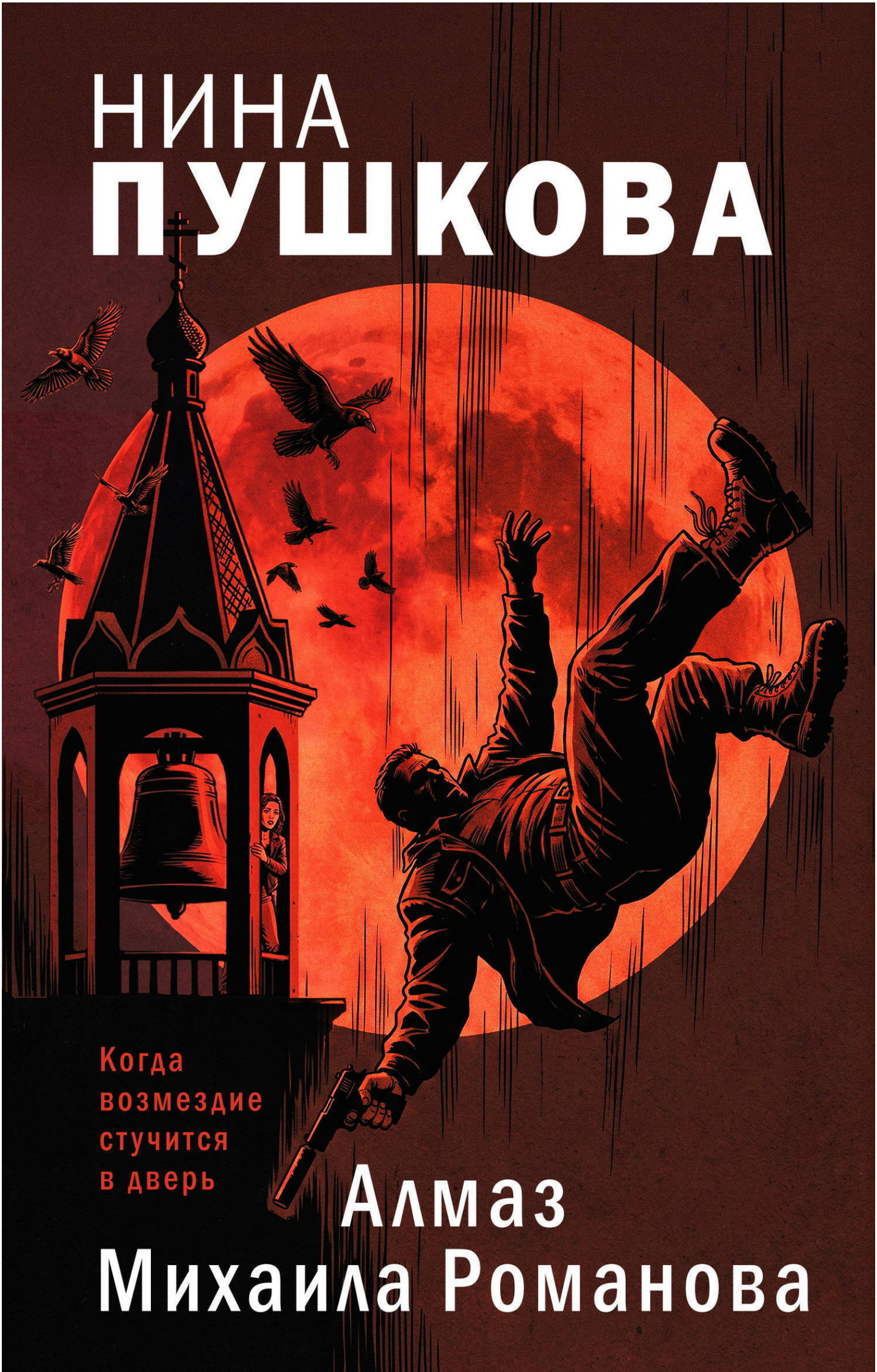
НИНА
ПУШКОВА



Когда возмездие стучится в дверь

Алмаз Михаила Романова

Дочь спецагента

Нина Пушкова

Алмаз Михаила Романова

«Эксмо»
2026

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Пушкова Н. В.

Алмаз Михаила Романова / Н. В. Пушкова — «Эксмо», 2026 — (Дочь спецагента)

ISBN 978-5-04-256396-6

Великий князь Михаил Романов, брат последнего императора, получает от отца Александра III фамильное кольцо с легендарным алмазом, связанным с венецианским дожем и императором Павлом. В ночь на 12 июня 1918 года в Перми чекист Гавриил Мясников и его подчиненные вывозят князя из гостиницы под предлогом допроса и расстреливают в лесу. Мясников забирает кольцо, скрывая его от начальства… В 1998 году московская журналистка Ника, пытаясь выжить в кризисной России, получает задание снять сюжет о князе Михаиле для телепередачи. В Перми она знакомится со Светланой, внучкой старика — свидетеля событий 1918 года, и вместе они находят масонские символы, указывающие на тайник… Захватывающий детектив Нины Пушковой, автора знаменитого «Романа с Постскриптумом» и дилогии «Дочь спецагента», актрисы, сценариста, члена Союза писателей, супруги известного политика и ведущего Алексея Пушкова. Роман, в котором все играют по-крупному, — так о 90-х не писала еще ни одна женщина! Правдивость, живой слог и яркая кинематографичность — эта книга обещает стать неоспоримым бестселлером!

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-256396-6

© Пушкова Н. В., 2026
© Эксмо, 2026

Содержание

Пролог 7
Часть первая. Убийство 10
Великий князь 10
Перед казнью 13
Наука ненависти 15
Бог не спасет 17
После расправы 20
«Не убивайте батюшку!» 23
Голгофа 26
Возмездие 28
Часть вторая. Парижская тайна 30
Черная вода 30
Знакомство 32
Монастырь 35
Исповедь 36
Благословение 39
Венеция 41
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Нина Пушкова
Алмаз Михаила Романова

Редактор серии А. Антонова

© Пушкова Н. В., 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Пролог

Москва, ноябрь 1945 года

Он знал, что все это была ложь. Амнистия. Прощение. Родина ждет… Все это было обещано тем, кто, как и он, бежал из страны после революции. Он не поверил. Но поехал. Потому что больше незачем было жить, а там, где он был, не хотелось оставаться.

Арестовали его на аэродроме. У трапа. Даже дали попрощаться с небом. Здесь оно было другим.

Теперь он сидит в камере, слушает, как за стеной о чем-то спорят конвойные, и уверен: этой ночью его расстреляют. Нет, он не боится. Человек, который сам водил других на расстрел, не имеет права бояться. Но в груди, под ребрами, саднит что-то живое. Не жалость к себе. Не ненависть к ним. Другое.

Ему уже сообщили, что оба его сына погибли на войне. Жена сошла с ума и умерла в доме скорби. Все, что он строил, рассыпалось. Все, во что верил, пошло прахом. Есть только одна тайна. Один секрет, который он вывез из той, другой жизни. Который грел его в парижских мансардах, когда по ночам он кричал в пустоту. Который не позволил сойти с ума. И давал надежду.

Алмаз.

Тот, кто сейчас пьет чай в Кремле, знает, что был алмаз. Великие князья рассказали об этом на допросах в Петербурге – не устояв под пытками или перед посулами. И с тех пор Сталин искал его. Годами. Посылал людей. Перетряхивал архивы. Допрашивал тех, кто еще мог что-то помнить. Но не знал, что настоящий хранитель – он.

Сталин не получит алмаз. Никогда. Эта тайна умрет вместе с ним.

Это единственная победа, которую он еще может одержать. Не кровавая. Не громкая. Тихая, как смерть. Он унесет тайну с собой. Его история закончится здесь, в этой камере. На рассвете. С выстрелом.

А тайна – останется.

Крым, Ливадия

Ноябрь 1893 года

В день пятнадцатилетия Михаила, своего младшего сына, Александр III позвал его к себе в кабинет. Кивнув на кресло напротив, он достал из ящика стола простую глиняную трубку и неторопливо набил ее табаком. Синий дым поплыл к портрету Павла I, под которым сидел император. Михаил догадался, что отец позвал его не на будничный разговор.

– Миша, я расскажу тебе одну историю. Давно это было. Еще в те времена, когда Русь наша только-только строилась, а где сейчас Петербург – одно болото было. Веке, почитай, в четырнадцатом.

В Венеции тогда правил дож по имени Бартоломео Градениго. Богатейший человек. Сила у него была большая. Венецианский флот полмира мог тогда завоевать. И вот пришли к нему рыцари из ордена Святого Иоанна – госпитальеры, так их называли. Им нужны были венецианские корабли, чтобы добраться до Египта. Это был Четвертый крестовый поход. Своих кораблей у них не было, но они могли за них заплатить.

Дож рыцарей выслушал. Стал торговаться, а затем назначил такую сумму, какую они заплатить не могли. Но, поразмыслив, он вошел в их положение и согласился на их цену. А в благодарность иоанниты подарили ему перстень с огромным желтым алмазом – камнем, о котором ходили легенды. Принадлежал он когда-то, говорили, самому Карлу Великому – основателю Священной Римской империи. А затем волею судеб оказался у одного из магистров ордена Святого Иоанна.

Михаил слушал затаив дыхание.

– Не как плату вручили, заметь, – продолжил император. – А как знак союза. Мол, мы, правитель великой Венеции, память о твоем добре сохраним. А алмаз этот прими в знак нашей благодарности.

Дож тот правил долго. А каждый год у них в Венеции праздник был – Обручение с морем. Выходил он в лагуну на своей золотой галере, бросал в волны кольцо и говорил: «Обручаюсь с тобой, море, во владычество вечное». Красиво, пышно, торжественно. Весь город с ним в море выходил. И в тот раз все было как обычно: тысячи барок, крики, толпы, музыка. Старик размахнулся, бросил кольцо… и тут же хвать себя за палец, на котором перстень иоаннитов носил… Пусто!

Представляешь? В суете – с болезни ли, от старости ли, но бросил он в лагуну не то церемониальное кольцо, что для обряда предназначено было, а свой заветный перстень – тот самый подарок рыцарей Святого Иоанна. Колыхнулась вода – и нет перстня.

Дож, говорят, слег от расстройства. Послал ныряльщиков – нету. Молебен монахам заказал – глухо. Смирился.

И вот через месяц сидит он во дворце, тоскует. Вдруг стража докладывает: пришел рыбак, грязный, оборванный… Его прогнать хотели, но он не уходит – требует аудиенции. Дож махнул рукой: пусть войдет, все равно с тоски помираю. Вошел рыбак, упал на колени, разжимает кулак. А в кулаке – перстень с алмазом. Тот самый!

Рыбак тот, видишь ли, сеть ставил на отмели, и попалась в нее крупная рыба. Пришел домой, вспорол брюхо, а там – кольцо драгоценное. Обрадовался рыбак, а ему говорят: так то, верно, дож потерял. И понес старик алмаз во дворец. Встал на колено, протянул кольцо и спросил: «Твое, господин?»

И тут дожа как осенило. Созвал он совет и говорит: «Море вернуло мне перстень. Это знак свыше, чтобы я его хозяевам отдал». И написал иоаннитам на Родос, там у них штаб-квартира была: «Ваш дар вернулся ко мне из пучины, и я понял: не мне его носить. Я земной человек, морская волна мне жена, а этот перстень – он свыше. Вы воины, вы скитальцы, страдальцы за дело Христово. Пусть этот перстень хранит вас там, где вы обретете дом».

И вернул перстень.

А иоанниты потом, через две сотни лет, теснимые османами, с согласия европейских монархов на Мальте осели и стали называться мальтийскими рыцарями. И хранили алмаз как зеницу ока. Еще бы, само море им его вернуло! Алмаз стал у них чуть ли не главной реликвией. А когда Наполеон, антихрист, их с Мальты погнал, они к нам в Россию пришли. К твоему прапрадеду Павлу Петровичу.

Император глубоко затянулся трубкой, и облако сизого дыма создало загадочный, туманный ореол на портрете Павла. Казалось, он внимательно прислушивался к Александру.

– Павел, глубоко чтивший рыцарство, принял их как братьев. Вступил в орден и согласился стать его магистром. А они, мальтийцы, в благодарность и в знак того, что не было у них больше земли своей, а приютила их только Россия, поднесли ему этот алмаз. Мол, владей, магистр. Ты – наша новая Мальта.

Александр III замолк и внимательно посмотрел на сына.

– Так-то, Миша. Так что кольцо это помнит и Карла Великого, и Венецию – владычицу морей, и рыбака, выловившего его со дна морского, и дожа того суеверного. И Павла, конечно,

и меня – всех, кто его хранил. И тебя, выходит, запомнит. Передаю я его тебе как уже нашу семейную реликвию. Береги его, Миша. Вот уже сто лет его новой Родиной стала земля наша русская. Пусть так оно и будет.

Михаил смотрел на отца огромными от волнения глазами. Для него Александр III был не просто император, он считал его русским витязем, былинным богатырем. Получение подобного дара от такого отца было как посвящение во взрослую жизнь.

– Государь… отец… Я… я не нахожу слов, – взволнованно заговорил он. – Я думал, вы позвали меня, чтобы говорить об офицерской службе или учебе. Но это… это пришло из глубин истории… И теперь вы доверяете хранить его мне!

У себя в комнате, с сильно бьющимся сердцем, Михаил поднес кольцо к самому лицу. Тяжелое золото, древнее, с едва заметной вязью по тонкому ободку – то ли буквы, то ли узор, что-то восточное или скорее староитальянское. Но главное – камень.

Это был великолепный алмаз. От него исходил не тот холодный блеск, к которому он привык, видя бриллианты матушки или сестер на балах. Нет, его сияние было теплым и лучистым. Алмаз был крупным, чуть вытянутым, ограненным старинной «розой» – не россыпью острых граней, а гладкими, словно дышащими плоскостями, похожими на застывшие капли воды. В глубине его будто струился легкий, едва уловимый туман. При тусклой свече он казался сдержанным, почти скромным. Но стоило чуть повернуть его к свету…

Михаил подошел к окну. Солнце Ливадии – щедрое, еще не остывшее после лета, – заливало комнату потоком золота. Он повернул кольцо, подставляя камень лучам.

И комната засияла искрящимися брызгами.

Это нельзя было назвать просто блеском. Алмаз вспыхнул. Из глубины его, из самой сердцевины, где таился тот самый молочный туман, вырвался сноп света. И тот был не белым и не беспощадным, как электрическая дуга. Он был живым, теплым, искристым.

По потолку и стенам заплясали зайчики, словно напитавшиеся цветом самого камня. В них чудилась игра: то холодный голубой отблеск, будто отсвет лагуны, то теплый янтарный – словно вино в венецианском бокале, то вдруг алый – как знамена мальтийских рыцарей на флагштоках галер. Бриллиант не просто отражал свет – он переплавлял его, превращая в магический фейерверк.

На миг Михаилу показалось, что вся комната поплыла. Позолота на раме иконы в углу засияла ответным огнем, хрустальная люстра под потолком отозвалась тихим звоном, а пылинки в солнечном луче закружились в бешеном хороводе, словно празднуя возвращение хозяина.

Сам камень в это мгновение перестал быть просто минералом. Он смотрел на Михаила. Из глубины его, сквозь игру света, проступали очертания – то ли парус далекой галеры, то ли лик старика в короне дожа… Может, просто игра воображения.

Михаил зажмурился. Когда открыл глаза, свет угас, оставив после себя лишь приятное тепло в пальцах, сжимавших кольцо. Зайчики исчезли, комната стала прежней – уютной, привычной. Но ощущение чуда осталось.

Он перевел дыхание и снова взглянул на удивительный алмаз. Тот, скромно поблескивая, ощутимым грузом лежал в его ладони. Только в самой глубине его таилась всегда готовая проснуться искра.

– Так вот ты какой… – прошептал Михаил. – Рыбак тебя из пучины выловил, венецианский дож носил, рыцари берегли, мои великие предки хранили… А теперь ты у меня.

Он сжал кольцо в кулаке и почувствовал, как холодок металла сменяется ровным, спокойным теплом. Словно камень узнал его руку и согласился ждать. Надевать перстень или нет, он еще не решил. Но расставаться с этим ощущением тайны, с этим солнечным взрывом, спрятанным в кулаке, он уже не собирался никогда.

Часть первая. Убийство

Великий князь

Пермь, май 1918 года

Начало мая 1918 года было необычайно теплым и ласковым. За зиму люди намерзлись в своих стылых квартирах, позеленели от недоедания и отсутствия освещения – новые власти не слишком заботились о бесперебойной подаче электричества. Перебивались свечами, буржуйками, керосинками – кто чем мог, тем и спасался. В частных домах, где имелись запасы сушеных грибов, ягод и рыбы, зимовать было легче. Пермь с надеждой ждала весны и конца власти большевиков.

И вот, когда изрядно удлинился день, а тьма плавно перетекла в сумерки, предвещая приближение белых ночей, когда внезапное майское тепло позволило распуститься первоцветам – кустам форзиции – и образовало нежно-зеленый контур на городских деревьях, все живое потянулось на улицу. Горожане сидели группами и в одиночку перед театром в сквере. Толпы заполняли Козий загон. Это место на высоком берегу было особенно любимо пермяками. Еще бы! Отсюда была видна широкая Кама, сияющие под солнцем купола кафедрального собора, лес на другой стороне реки, принимающий от воды и небес голубоватый оттенок… И даже заводские трубы далекой от центра Мотовилихи смотрелись романтично и напоминали корабельные мачты.

Видный пермский большевик, член ВЦИК Гавриил Мясников, по-простому Ганька, вез свою жену Дарью к пристани. Он ласково звал ее Доник. Ехали они в фаэтоне с кожаными сиденьями и мягкими рессорами. Мясников очень гордился, что фаэтон, как личное авто, всегда был в его распоряжении. Остановились на набережной. Еще год назад жизнь здесь кипела. Раньше набережная была вся в загруженных, полных людей причалах губернского пароходства, с яхтами из речного яхт-клуба, лодками, шлюпками, шитиками – все это пестрело, двигалось, жило. А как иначе: пермские реки – кормилицы. Но после революции все это как ветром сдуло. Вот и сейчас – стояло всего несколько старых лодок. Мясников выбирал, на какой из них переплыть на правый берег, где стояли высоченные сосны-великаны, белел чистый речной песок, даже лосей непуганых можно было встретить. Здесь новое пермское начальство любило маевки проводить, пикники устраивать.

Ганька уже приготовился сесть в лодку, как вдруг заметил на набережной странное собрание. Он увидел небольшую толпу из женщин, богомольных старушек, среди них стоял и облаченный в рясу священник. Они окружили высокого, видного мужчину в легком светлом плаще и шляпе, что-то ему протягивали, о чем-то расспрашивали. Но внимание чекиста больше привлек бледнолицый священник, одетый в черное. Мясников вознегодовал. Ведь он лично написал и велел на всех церквях города развесить объявления: «Служителям культа не носить спецодежду за стенами церкви!» Вот ведь народ! Позакрывать надо их богомольные гнезда к чертовой бабушке! Неизвестно еще, о чем они там говорят, на что народ подбивают! И кто это среди них – тот высокий, в плаще?

И вдруг его как молнией поразило! Он узнал этого человека, припомнил, что видел статью с фронта и его фотографию в газете. Ну конечно же, царский генерал, да какой генерал, бери выше – родной брат царя, великий князь Михаил! Но там, на фото в газете, он был одет в черкеску, которая на нем сидела так красиво, просто на зависть. И окружали его тоже бравые

красавцы-офицеры. И вот, спустя три года, уже в Перми перед ним в легком плаще и широкополой шляпе стоял тот же человек!

Как же он пропустил такую новость? Ганька даже на пикнике расхотел оставаться. Быстро перевез жену на правый берег, выгрузил мешок с провизией, дотащил все до своих товарищей и, сказав: «Доник, ты будь здесь… Я скоро!», заторопился в ЧК.

План в общих чертах созрел быстро. Вот так оказия, вот так случай в его сторону приплыл! Ликование было трудно унять! Тут не только прославиться, тут можно свое имя в историю вписать!

Гавриил Мясников любил покрасоваться. Войдя в свой кабинет, он уже предвкушал, как вечером скажет жене своей: «Ну что, Доник, думала ты, когда замуж выходила, что будешь жить с исторической фигурой?!»

«Шебутной ты у меня», – ласково ответит она и положит голову ему на плечо. Они были одного роста.

«Запомни этот май восемнадцатого года, голуба! Знай, что отныне ты живешь с исторической личностью. Все тебе завидовать будут!»

Да, Гавриил Мясников всегда был позером – тщеславным, самолюбивым, говорливым. За то, что убил еще в 1905 году по молодости и по дурости своей двух жандармов, он на два с лишним года был отправлен на каторжные работы. Царский режим был либеральным: Ганька с товарищами потом смеялся и издевался над таким правосудием. Все большевики, и главари, и рядовые, часто бежали из тюрем и ссылок. Вот и Мясников утек почти сразу с царской каторги, а арестантскую робу прихватил как сувенир. А когда власть зашаталась окончательно, он из мешка достал арестантскую полосатую фуфайку и из нее не вылезал. Выступать в ней очень любил.

Бывало, вскочит на заводском дворе на табурет и давай пролетарскую речь толкать. Ему – крикуну и говоруну – это нужно было как хлеб. Подставит себе под ноги ведро или ящик, чтобы выше казаться, и давай мутить рабочих. Особым своим соперником он считал большевика Сашку Борчанинова. И особенно невзлюбил его Ганька за то, что у Сашки куртка была студенческая, с начищенными до блеска медными пуговицами.

Студентов и интеллигентов Мясников ненавидел и презирал. И однажды открыто заявил: «Ты мой враг, Борчанинов!» Он даже своего наставника по партийной борьбе – Якова Свердлова – и того, если уж говорить о митингах, втихую считал слабее себя. Тот рабочих не понимал. Один из псевдонимов Свердлова был Андрей Уральский, иной раз он себя даже Пермяковым называл, чтобы стать ближе к уральским рабочим. Но куда ему было до Ганьки!

От природы неряшливый, Мясников всегда был одет в какие-то обноски. И тем, кто приходил его слушать, это нравилось. «Свой мужик – правильно говорит!» – поощряла его толпа. А призывы у Ганьки всегда были ломовые: «Признать Государственную думу контрреволюционной!»

А над чистюлей Яковом Михайловичем рабочие втайне потешались: вечно настороженный, оглядывается постоянно, будто за пазухой адскую машинку носит. К тому же интеллигент, пенсне вот-вот слетит с носа… Нет, не соперник Мясникову Свердлов, хоть и косоворотку носит. Не раскачал бы он Пермь без Ганьки. Настоящих пролетариев для бузы мало было – бастовать пермские рабочие не хотели, жили неплохо, чего им бузить. От добра добра не ищут. Если бы не Мясников, Пермь так бы и осталась не охваченной революционным движением.

И сейчас он негодовал: как это?! Михаил Романов, последний русский царь, оказался в Перми, а от него, Мясникова, это скрыли! И узнал он об этом случайно!

Сапоги его грохотали по крашеному полу здания ЧК, будто он нес с собой весь шум пермских улиц, весь пар, что клокотал в заводских котлах. Он влетел в кабинет начальника ЧК без стука. Лицо красное, глаза горят, ворот рубахи расстегнут.

– Ты что же, контру здесь пестуешь?! – рявкнул с порога, даже не поздоровавшись. – Или совсем мышей ловить разучились? У нас под боком царь разгуливает! Со свитой!

Начальник ЧК, грузный мужчина с усталым мятым лицом, оторвался от бумаг. Он знал Мясникова – горячая голова, но мужик толковый. Резкий, злой, но такие и нужны революции. Уважал он его.

– Ганька, ты чего орешь? – осадил спокойно.

– Чего ору?! – Мясников подскочил к столу, ударил кулаком. – К нам в Пермь самого Михаила Романова привезли! Все бабки богомольные к нему ломятся как к наместнику бога на земле! И не только старухи! Он же знаменем всей контрреволюционной сволочи станет! Мы же здесь мятеж получим, понял?!

Начальник откинулся на спинку стула, потер переносицу.

– Ильич, не кипятись. В курсе я, что Романов здесь. Недавно его сюда переправили. На свободное проживание, понял? Это приказ из Москвы. Охранная грамота у него, самим Бонч-Бруевичем подписана.

– А Ленин в курсе?! – Мясников навис над столом, голос его взлетел до визгливой ноты. – А Свердлов в курсе?!

Начальник помолчал. Вздохнул:

– Видать, да. Раз приказ такой.

– Понятно! – Мясников отшатнулся, прошелся по кабинету, хрустя пальцами. – Руки пачкать не желают! Чистенькими хотят в глазах международной общественности остаться!

– Ганька, ты это… полегче.

– Полегче?! – Мясников остановился, в упор посмотрел на начальника. – Слушай сюда. Принимай меня своим заместителем. Сейчас заявление оставлю. За ним глаз да глаз нужен. Потому что случись что – шкуру снимать будут с тебя и с меня! Не с Москвы. С нас.

Начальник ЧК усмехнулся, но в глазах его мелькнуло одобрение.

– Думаешь, я сам не понимаю? – тихо сказал он. – Давай, пиши, Ганька. Действуй. Но смотри без самовольства. Москва нам указала – наблюдать, не трогать.

– Понаблюдаю, – процедил Мясников. – Не беспокойся. Я его стеречь буду. И днем и ночью.

Он повернулся и вышел. Дверь хлопнула так, что в соседней комнате звякнуло стекло.

«Да, революция победила, – думал Ганька. – Но маятник вполне может еще качнуться обратно. И тогда… Михаил станет знаменем контрреволюции. И тогда опять – преследования, как в 1905-м, каторга, побои…»

Позднее он записал свои мысли: «А это означает, что вековая тяжба между угнетенным трудом и поработителями, получившая свое завершение в Октябрьской революции, вновь даст победу эксплуататорам. Через реки и моря крови рабочих и крестьян, через годы трупов придет к торжеству шайка поработителей. И, помимо той драгоценной крови трудящихся масс, которая была пролита до Октября, помимо той крови, которая льется в защиту Октября, будет пролита еще и еще кровь десятков тысяч тружеников».

Ради спасения революции Михаила Романова надо было убить.

Перед казнью

Несмотря на вспыльчивость и импульсивность, свойственные его характеру, к делу Мясников готовился обстоятельно. Заранее. Казалось бы, все уже было продумано до мелочей, действуй спокойно, но нет – предательское волнение завладело им с вечера перед ночью казни. Когда он после ужина пил чай, то от мысли, что роковая полночь приближается с каждой минутой, сжал челюсти так, что не заметил, как откусил край граненого стакана. Опомнился только тогда, когда стекло захрустело на зубах.

«Черт, хорошо, что хоть язык не изрезал!» – разозлился он, вытирая кровь с подбородка в затхлом туалете местного ЧК. В ЧК он перебрался недавно – только для того, чтобы единолично руководить убийством. Ганька вновь чувствовал себя подпольщиком: ведь приходилось скрывать замысел от своих, от соратников. Ему очень хотелось приписать всю славу от убийства брата царя себе: все, все самостоятельно продумал, все самолично организовал!

Историю, которая навеки определит судьбу огромной страны, вершит сейчас он – Гавриил Ильич Мясников. Потомки еще долго его будут помнить: улицы его именем станут называть, а может, и города, памятники ему поставят, как и другим вождям. А чем он хуже их? Вон Ленин по поводу судьбы Романова молчит. И Свердлов молчит. Так что, выходит, именно ему, Гавриилу Мясникову, историческое революционное дело вершить придется.

От этих мыслей он вновь возбудился и решительно вышел на улицу. Было еще светло, но резко посвежело. Белые пермские ночи позволяли все видеть без подсветки, хотя фонари кое-где уже горели. Распустившаяся свежая зелень, запах близко протекающей большой реки подействовали успокаивающе. До полуночи – а чекисты любили арестовывать в полночь – было еще минут сорок.

Гостиница, где проживал младший брат царя Николая II, была в нескольких шагах от здания ЧК, поэтому Ганька пошел не вниз по улице, а наверх, к реке, к Каме. Он вдруг по-новому увидел город. Его Пермь – это Мотовилиха, рабочий район, где русские промышленники совместно с братьями Нобелями построили огромные военные заводы – лучшие в империи. Рабочие там хорошо зарабатывали, для них, наиболее грамотных, в домах из красного кирпича с фигурной кладкой строились квартиры. Некоторые с семьями строили себе собственные небольшие дома. Как же трудно их было раскачать на революцию!

Бывало, прокламацию или листовку сунешь – почитай, мол, правду про кровопийц знать будешь! Так выбрасывают, как мусор, не читая. На маевку зовешь, выпивкой заманиваешь, – не соблазняются, отмахиваются, говорят, болтуны вы там и пустобрехи.

Бузу устроишь, ну, стачку, там, митинг какой, – не идут во двор, хоть ты тресни. Приходилось кидать в них тяжелые металлические гайки, чтобы из цеха выгнать. Шутка ли сказать, самого товарища Свердлова побили и в полицейский участок оттащили, когда он за революцию агитировать приехал!

Он пошел к реке. Кама тяжело дышала, отдыхая от трудового дня. Река меняла цвет ежечасно: от небесно-голубого до свинцово-серого, почти черного. Сейчас она была похожа на стальной клинок, поблескивающий холодным светом под луной.

Подошел к собору Петра и Павла, кресты которого тускло блестели в лунном свете. С Церковью у Мясникова были особые счеты. «Деяние апостолов» – так он и назвал свою первую книжку, недавно вышедшую в Мотовилихе. Подойдя к церкви, он смачно сплюнул. Христа он уважал, а вот Церковь как институт считал шайкой разбойников, про это и написал. Его собственные счеты с Богом только начинались.

Мясников шел по Сибирской и смотрел на каменные дома, которые успели построить разбогатевшие горожане. Он знал, что многие из них уже пустуют – их владельцы уехали. А в

губком, как сокращенно называли губернский комитет партии, срочно выписывали ордера на квартиры в этих домах партийным товарищам.

Впрочем, многие наивные пермяки не уезжали – даже те, кто мог. Оставались на своих местах, считали, что старые добрые времена со дня на день вернутся, революционный хаос закончится, да и вины они за собой никакой не чувствовали. И не знали, какую судьбу готовят им новые власти – те, кого они считали босотой и бездельниками.

«Они все и за всё должны ответить!.. – распалялся Мясников. – Почему одним все, а другим ничего?!» Он остановился на секунду у дома купчихи Любимовой. Затейливые вензеля лепнины возбудили в нем новый приступ ненависти: «Вот куда ушли народные деньги, вот на какие чечки[1] понастроили всю эту ерунду ненужную!»

Мясников дошел до дома Дягилевых на углу Сибирской и Большой Ямской. Этот одноэтажный особняк в казармы превратили, и правильно, а то ишь, одна семейка в стольких комнатах проживала! А когда на Покровской проходил мимо особняка купцов Грибушиных, а с фасада здания на него взирали искусно отлитые гипсовые женские лица, то решение отомстить тем, кто воплощал в себе ненавистную прежнюю эпоху, пронзило все его существо. Кто-то из рабочих рассказывал Мясникову, что эти маски на фасаде здания – лица жены и дочерей купца Грибушина. Он даже остановился и, глядя на них, вслух произнес: «Гадины, поплачете вы у меня все. За все ответите!»

[1] Так на Урале называли деньги.

Наука ненависти

Невысокого роста мужчина, одетый во все черное, почти неразличимый в темноте гостиничного коридора, стоял у бокового окна на третьем этаже «Королевских номеров». Он боролся с охватившим его нервным возбуждением и даже не замечал, как громко хрустит костяшками пальцев, перекрывая шум и потрескивание паровых батарей, которые вновь включили по просьбе постояльцев, несмотря на то что была почти середина июня. Как же ненавидел он все эти царские капризы! Батареи летом ему включите, дозвольте приехать жене, пришлите извозчика отвезти в больницу заболевшего поваренка… И все ведь делают для него, недобитого эксплуататора. Из центра товарищ Бонч-Бруевич даже депешу прислал: «О свободном проживании в Перми бывшего великого князя М. А. Романова».

Ну все, конец близок, совсем рядом! Кирдык князю, помазаннику божьему. Душа Мясникова не испытывала радости, но злорадное торжество было. И нравилась собственная роль. Его, Ганьку, не обманет пролетарское чутье: закончится нынче свободное проживание бывшего великого князя. Он, как зверь, чувствует все. Ждут этого от него, команды не дают – ни Ленин, ни Свердлов, но ждут, что он сам все управит! Да и кишка интеллигентская тонка. Здесь злость нужна! Пролетарская ненависть требуется. Недаром же Свердлов все время твердил про науку ненавидеть.

Да и всего ж полгода как к власти прорвались. Ненадежно все. Надо так запугать всех, чтоб каждого шороха люди шугались! Он даже наизусть выучил и все время повторял слова Михаила Бакунина, которые услышал от Свердлова: «В революционере должны быть задавлены чувства родства, любви, дружбы, благодарности и даже самой чести. Он не революционер, если ему чего-нибудь жалко в этом мире. Он знает только одну науку – науку разрушения».

Вот это правильные слова! Так и надо! И гостиницу эту тоже надо разрушить. А то настроил этот купчина-кровопийца Васька Королев богатых домов в городе… И назвал-то как – «Королевские номера».

Имя свое обессмертить хочет, гнида ползучая. Подожди маленько, я лично тебе устрою номера, чтоб кровью в них харкал. Ганька еще покажет себя, скоро! Тогда и Ганькой перестанут кликать. И Ленин, и Свердлов, и этот Королев… Да много их будет, кто уважительно, а кто и умоляюще будет его Гаврилой Ильичом величать.

Пусть все боятся его – Мясникова. Будут бояться, куда они денутся. А то ишь, моду взяли – клички раздавать. Недавно совсем обнаглели: Петрушкой меж собой его называть стали. Из-за носа, что ли, вечно текущего? И бабы его долго не любили: «Потом воняешь, Ганька, одежу постирай!» Но это он поправил – теперь в чистой ходил. Доник за этим следила. А еще и настоящей кожанкой разжился – и стал кум королю: удобно, тепло, не продувает, да и вши в кожанке не водятся. Надо бы теперь не только тужурку, но еще и пальто кожаное выпросить. Тогда можно и Сашке Борчанинову не завидовать…

«Нет, я за эту власть, что мне все дала, глотки живьем грызть буду. Недаром вон в газетенке у попиков, “Тобольская патриархия” называется, написали про меня: “Зверь в образе человека, кровавый палач большевистского застенка”. Да, Зверь – оно лучше, чем Петрушка и Ганька».

Окончательное решение насчет князя Мясников принял после его допроса. Уж очень хотелось в глаза великому князю посмотреть. Мясников вызвал его в ЧК. Князь пришел в том же длинном светлом плаще, в котором ходил по городу. Он был очень высок и держался прямо, почти с неестественной выправкой. Когда он остановился перед столом, глядя поверх головы Мясникова куда-то в стену, разница стала почти карикатурной: гигант и пигмей. Но пигмей сидел. А гигант стоял.

Мясников даже не взглянул в бумаги перед собой.

– Ну что, гражданин Романов? Признаете советскую власть? Или играете роль спасителя человечества?

Михаил медленно перевел на него взгляд. Посмотрел не сверху вниз, а как бы издалека, словно разглядывая нечто мелкое и не слишком приятное. В его глазах не было страха. Там была усталая брезгливость. Брезгливость ко всей этой бессмысленной кутерьме, к этому выскочке в кожанке, к самому себе, застрявшему в этом городе.

Он сказал тихо, отчетливо, с легкой хрипотцой в голосе:

– Я вот подарил народу свободу. А народ… меня в ЧК вызывает.

Это была не жалоба, не попытка оправдания. Это был приговор. Приговор всему – надеждам, иллюзиям, истории длиной в триста лет. И самому себе. Михаил увидел в глазах вызвавшего его чекиста не гнев, не возмущение. Нечто более страшное – полное равнодушие. Глаза превратились в две черные пуговицы на каменном лице.

– Свобода не дарится, гражданин. Она завоевывается. Революцией, – отрезал Мясников, отводя взгляд. – Все. Можете идти.

Это было 7 июня. Сейчас, пять дней спустя, эта сцена, когда он в первый и последний раз говорил с Михаилом, вновь всплыла в памяти Мясникова.

Но тут этажом ниже хлопнула дверь, и чей-то голос рявкнул на весь этаж: «Никому не выходить, будете арестованы!» Минутой позже отдаленно стукнула нижняя тяжелая уличная дверь, и два человека – один высокий, в светлом плаще, другой пониже, в темном пальто, великий князь и его неизменный помощник Джонсон, – окруженные, как вороньем, несколькими людьми в черных одеждах, загрузились в два стоящих внизу крытых фаэтона, запряженных лошадьми.

Бог не спасет

Пермь, ночь с 12 на 13 июня, 1918 год

Все пряталось и исчезало в утреннем уральском тумане: одинокие дома, едва различимые темные кладбищенские часовенки, погосты за деревянными заборами. И все-таки это были картины жизни – последние картины. И великий князь Михаил, пробывший императором только день, а затем отказавшийся от престола, с предельной ясностью осознал, что где-то здесь, совсем-совсем скоро он встретит свою смерть от людей, сидящих напротив него в тоскливо дребезжащем фаэтоне.

Они не спускали с них глаз – с самого князя и сидевшего рядом Джонсона. У одного из чекистов – низкорослого мужчины, доставававшему Михаилу до подмышки, – в руке был тяжелый парабеллум. Одет он был в черную кожаную тужурку. Короткие ноги в черных сапогах, голенища которых полностью закрывали его колени, вытянул вперед. От сапог нестерпимо пахло дегтем.

Было странно видеть морское офицерское оружие с длинным стволом в его короткопалой руке.

Князь Михаил любил и ценил оружие. В первые годы мировой войны он вместе с князем Дмитрием Багратионом командовал «Дикой дивизией». Эта кавалерийская элитная часть русской армии включала двенадцать казачьих войск и шесть полков, состоящих из горцев Северного Кавказа и степных наездников Туркестана, с детства владевших оружием и любивших лошадей как собственных детей.

Князь Михаил любил своих «туземцев», и они отвечали своему командиру тем же. Он помнил, как после победы в сражении против австрияков он проводил во Львове смотр своего войска. Весь город сбежался посмотреть на это невиданное по своей красоте зрелище: орлы Кавказа проезжали на чутких к малейшему движению наездника точеных лошадях. Всадники – в красивых черкесках, в ярко-алых башлыках, молодые, гибкие, как лоза, полные гордости, мощи и отваги, – не смотрели на толпу. Их сияющее золотом и серебром оружие бросало блики на накинутые на плечи длинные башлыки, которые были похожи на сложенные ангельские крылья.

Князь Михаил вспомнил, как прочел в одной из австрийских газет, что русские ведут из глубины Азии какую-то неведомую, страшную силу – орду из всадников в огромных мохнатых шапках, а за плечами у них черно-белые крылья, и они едят младенцев.

Высокий, атлетически сложенный, закаленный фронтом и армией, стальными пальцами своими рвавший нераспечатанную колоду карт и гнувший монеты, он с неприязнью смотрел на осквернённое оружие. Рукоятка благородного цвета палой листвы, сделанная из древесины грецкого ореха, была замызгана почти до черноты. Затворный механизм покрыт пылью и грязью. В этот момент другой сопровождающий протянул руку к пистолету и коротко сказал: «Дай». Князь успел увидеть знакомую выгравированную надпись на латинском языке «Para bellum», что означало «Готовься к войне». А для него этой ночью все кончится: и мир, и война, и сама жизнь. Смерть в тридцать девять лет! Не на фронте, не от ранения – как же так?! И никто не спасет, не придет на помощь. Где его любимые отважные горцы, хотя бы один!..

Он не боялся смерти, даже был готов к ней. Но все дни, что он прожил в Перми, на донышке его души жила надежда: буду спасен! Бог поможет, Бог управит! И не знал великий князь, что горцы после отречения его брата от престола были расформированы, многие уехали на Кавказ.

Разброд и шатание царили среди разобщенных офицерских соединений. И произошло все это после его собственного отречения от короны, фактически от страны, когда многие посчитали, что он умыл руки! После этого он стал никому не нужен. Он даже мешал всем!

Да, да, именно мешал. Впервые эта мысль стеганула его пару месяцев назад. Господи, воистину неисповедимы пути твои, и слаб человек, и сильны бесы! Ну зачем, зачем, что его попутало, какие надежды обуревали его, когда он сменил свою родовую фамилию на фамилию жены, стал Брасовым, надел на пальто красный бант и вышел после месячного заточения в Гатчине на улицы Петербурга. Многое открылось сразу же – уже тогда!

Его поразил быстро пришедший в упадок город с кучами мусора во дворах и скверах. Были заколочены окна знакомых кафе и магазинов, а те, которые не успели закрыть досками, были разбиты и разграблены, и было слышно, как внутри гудит и гуляет ветер. По Невскому проспекту летали разодранные коробки, засаленная драная ветошь норовила зацепиться за ноги одиноких прохожих. Дворников нигде не было видно, встретился только один. На вокзале в Гатчине Михаил стал свидетелем сцены, когда начальник станции, указывая на грязь, отчитывал дворника:

– Что же ты, шельма, неделями мусор копишь на платформе?!

На что тот лишь оскалился в ответ:

– Чего вы хочете? Слобода таперича! Слобода – она для всех!

Как же так, как же допустили они до этого? Как же не увидели того, что очень ясно и просто сказал им необразованный извозчик на вокзале: «Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и сам себя погубит…»

Как же этот неграмотный простой человек сразу увидел все то, чего не видели и даже вообразить не могли все эти депутаты, профессора, поэты, интеллигенты, адвокаты и прочие с красными бантами на груди – все, кто вдохновенно приветствовал революцию, даже не представляли, даже помыслить не могли, что они приветствуют своих похоронщиков.

Своего похоронщика Михаил Александрович увидел, когда был вызван на допрос в Пермскую ЧК. Он пришел в провонявшую махоркой комнату, где сидел за столом маленького роста усатый брюнет. Второго стула в комнате не было. Сделано это было, наверное, умышленно, чтобы вошедшие сразу осознавали свое подчиненное положение. Чекист не поздоровался, а, оторвавшись от бумаг, недовольно спросил:

– Скажите, гражданин Романов, вы, кажется, играете роль спасителя человечества?

Михаила возмутил и вид этого хозяина жизни, и развязная поза, и тон. И он раздраженно ответил:

– Да, я вот подарил народу свободу, а он меня в ЧК приглашает…

Черные глаза брюнета, как два дула, смотрели на него в упор.

– И будет приглашать. Я вам приказываю приходить сюда каждый день на отметку. А теперь распишитесь в явке, и будете свободны.

После этого минутного «допроса» Михаил понял, что дни его жизни сочтены. Но душа его скорбела не только от понимания близости кончины. Нет! Горько и тяжело было осознавать свою вину и ответственность за все, что стало со страной, чему все попустительствовали: и мягкотелое либеральное дворянство, и военные, не сумевшие остановить надвигавшееся бедствие, и промышленники, тайно подкармливавшие революционеров в надежде, что удержат их под своим контролем.

«Но больше всех мы виноваты! Мы, – подумал князь Михаил. – Романовы – помазанники Божьи. Ведь Господь на нас возложил ответственность за державу, за судьбы миллионов людей! Царский венец – не украшение, это и испытание, и ежедневный труд, и экзамен перед Богом и предками, веками работавшими на славу и укрепление государства Российского. И это – возмездие…»

А затем все мысли исчезли. Осталось лишь жуткое, переворачивающее все нутро ожидание неизбежного. Великий князь Михаил всматривался в светлую июньскую ночь. Но она казалась ему черной – чернее ада.

В том, что их везут на казнь, у Михаила сомнений не оставалось. Он взглянул на часы. Была полночь. Золотой корпус его часов блеснул в свете полной луны, которая безразлично освещала землю со всеми драмами, трагедиями и надеждами живущих на ней людей. Сопровождавший Михаила расстрельщик хищно посмотрел на блеснувший предмет. Было понятно, что через час часы осядут в кармане у этого человека. И Бог не спасет!

После расправы

Домой Мясников вернулся глубоко за полночь. Светлая июньская ночь быстро превращалась в серое утро. «Надо ехать в Москву! – обожгла возбужденная мысль. – Только гавриков допрошу: кто стрелял, как вел себя царский брат перед смертью, не было ли осечек и все прочее, для подробного доклада Свердлову». Спать ему не хотелось – важно было припрятать шкатулку с драгоценностями из царского номера, которая тяжело оттягивала широкий карман кожаной тужурки.

Уже в коридоре квартиры Ганька учуял густой запах наваристого борща, от которого свело кишки. Он вспомнил, что за весь прошедший день выпил всего лишь два литра свекольного квасу, на котором Дарья собиралась варить борщ, да чаю с сушками у себя в кабинете. Не снимая куртку, он метнулся к плите и половником стал черпать прямо из кастрюли красную гущу острого борща.

– Совсем одичал со своей работой, – услышал осуждающий сонный голос жены. Она тихо появилась и полезла за тарелкой. – Скиснет все, сними куртку.

– Не надо, Доник. Сам.

Глотая на ходу, он дернулся в дальнюю комнату, достал чемодан и на его дно, укутав в старую рубаху, чтобы не звенело, положил шкатулку и запер замки. Те на чемодане Мясникова были с секретом: чтобы защелкнуть намертво, надо было в открытом виде сделать два коротких нажатия на кнопки, которые давили внутренние пружинки. Та же процедура требовалась и при открытии. Жена злилась, что чемодан сразу открыть нельзя. «Заедает все время», – жаловалась она Ганьке. А он с довольным видом все «исправлял». Теперь шкатулка была в надежном месте.

Успокоившись, он отправился доедать борщ, который Дарья успела согреть и вылить в огромную миску. Рядом лежала большая лепешка из ржаной муки. Мякиш ее слегка лип к зубам – оттого, что мука была разбавлена клейстером. Доник не переставала возмущаться:

– Хлеб с клейстером – это и есть ваша революция?!

– Не понимаешь ты, Доник, революционного смысла, – с улыбкой упрекал Мясников жену.

– Для меня смысл в том, чтобы детей и тебя накормить, а не в том, чтобы вы клей лопали и кишки себе сломали. Где и когда это видано, чтобы так голодно было? Чтобы людей пачками расстреливали? В этом твой революционный смысл?! Ты начальник, ты в ответе! – напирала жена.

Но Мясников, нахлебавшись борща, вдруг почувствовал такую усталость, что едва дошел до постели и прямо в одежде рухнул на кровать. Перед тем как провалиться в сонное небытие, он пообещал жене, стягивающей с него сапоги и брюки: «Разберемся, Доник, со всеми…» И не договорил.

Проснулся Мясников лишь к полудню – от пугающего обрывка сна. Ему приснилась высокая фигура великого князя, за его спиной – расправленные белые крылья, как у ангела… Грозя ему длинным худым пальцем, князь Михаил произнес: «Увидишь!»

Сон мгновенно улетучился. Вихрь мыслей погнал Мясникова, несмотря на воскресенье, на рабочее место. Он успел схватить со стола оставленные Дарьей три отварных картофелины и яйцо вкрутую и припустил в ЧК. Там он велел дежурному прислать к нему Маркова из расстрельной команды, а если тот пьян, то Жужгова.

На его рабочем столе, когда он вошел в кабинет, лежали три листка бумаги с торопливо написанным отчетом о событиях той ночи: «собирался убечь… налет белой сволочи… рабоче-крестьянская надобность…» Мясников аж поморщился.

Он еще дожевывал, когда в кабинет, не постучав, вошел Марков. От него несло потом, махоркой, запахом пороховой гари и чем-то еще – едким и тревожным. Лицо его было землистым, глаза бегали по сторонам.

Марков встал перед столом, чуть расставив ноги и машинально почесывая шею – на ней, повыше ворота гимнастерки, виднелись свежие ссадины. Он не собирался идти на работу после трудной ночи, был злой, невыспавшийся, но Мясникову не терпелось узнать подробности.

– Ну, давай, рассказывай, – бросил он, закуривая и откидываясь на спинку стула. – Как все было?

Марков пожал плечами. Движение вышло неловким – словно воротник натирал.

– Мы как вывели их из коляски, так я сразу и пальнул в затылок маленькому англичанину, секретарю его… Как ты инструктировал. Да только там у меня осечка вышла, патрон застрял. Не к тому пистолету был.

Он говорил без напряжения, как о поломке инструмента. Даже хмыкнул, вспоминая.

– И тут этот Романов на меня как кинется, будто столб верстовой свалился. Глаза безумные… «Убийцы!» – орет… Длинный он, падлюга. Пальцы как заводские клещи. Одной правой рукой меня за горло так ухватил, что я двумя руками оторвать не мог, – Марков мотнул головой, указывая на ссадины. – А левой рукой стал пистолет вырывать. Хорошо, Жужгов подмог. Завалил его.

Он помолчал, переминаясь с ноги на ногу. Мясников не перебивал, только дым пускал к потолку.

– Ну че, – заключил Марков почти весело, – надо теперь к соседям в Екатеринбург ехать, с Николашкой расправиться. А че, опыт у нас есть. Мы первые опять же. Ты годный план придумал, мы хорошо справились…

Он ухмыльнулся, но улыбка вышла кривая, и он снова потянулся к шее.

Мясников медленно опустил горящую папиросу. Лицо его стало непроницаемым, только в глазах что-то шевельнулось – не удивление, не одобрение, а скорая, холодная прикидка.

– Нет, – сказал он твердо. – Не дадут.

Марков вопросительно вскинул брови.

– Теперь, после того, как мы это сделали, охотников повторить много будет, славу загребастать. И не только славу… – многозначительно добавил Мясников и замолчал, давая своим словам осесть.

В комнате стало тихо. Слышно было, как за окном, на улице, кто-то кричал на лошадей, а где-то вдалеке стучали молотки, – будничный шум живого города. Марков молчал.

Мясников взял со стола карандаш, повертел, положил обратно.

– Что нашли на телах? – спросил он будничным, деловым тоном. – Драгоценности, кольца, цепочки?

Марков дернул плечом, словно вопрос был нелепым.

– Так, пустяки. Крестик, портсигар, ладанка с волосьями… Ее выбросили.

Он не упомянул часы, которые снял с Михаила. И даже не потому, что боялся, а потому, что не считал нужным. Часы – это свое, заслуженное. Он давно приглядывался, но достойных не было. А тут – с золотым циферблатом…

Мясников кивнул, не уточняя. В его взгляде мелькнуло что-то – то ли презрение, то ли усталое понимание. Ему все было ясно.

– Что с телами? – коротко спросил он.

Тела – это всегда угроза, всегда улика. Тем более что он все сделал на свой страх и риск – ведь указания из Москвы не было.

– Забросали хворостом, – ответил Марков, и голос его стал совсем тусклым. – Некогда было закапывать. Времени не было, светать начало. Боялись, что увидит кто проезжающий. Сегодня ночью управимся.

Он зевнул, прикрыв рот ладонью. Но Мясников уже отвернулся к окну, глядя на мутный, пыльный занимающийся день.

Марков потоптался, понял, что разговор окончен, и пошел к двери. На пороге он обернулся, хотел что-то добавить, но Мясников стоял неподвижно, глядя в окно.

Вот оно – свершилось. Его план удался. Он вошел в историю, хотя об этом пока мало кто знал. Но Мясников поймал себя на том, что не испытывает ничего – ни восторга свершения, ни вдохновения. День был пасмурным и серым, как и вчерашний. Новое, счастливое будущее не наступило. Его предстояло строить.

«Не убивайте батюшку!»

Мясников сидел в кабинете, просматривая бумаги. И вдруг – первый удар колокола. Глухой, мощный, раскатывающийся по ночному городу. Потом второй, третий… Над Пермью стоял дружный, беспорядочный звон, разливалась безумная радость.

Мясников нахмурился. Это было нарушение тишины, нарушение революционного порядка. Он вышел на крыльцо. Звон лился из собора и нескольких церквей. Он приказал подать фаэтон.

Подъехав, он увидел странную картину: двери собора распахнуты, замок валяется на земле. К ступеням уже подтягивались первые богомолки, озираясь, но входя внутрь. Церковь ожила сама по себе, против приказа.

У паперти он заметил церковного служку Варфоломея. Подозвал.

– Кто замок сорвал? Кто двери открыл? Запрещено было!

Старик заерзал, глаза бегали:

– Меня тут не было… Не видел я ничего…

Но Мясников и сам понял: архиепископ Андроник! Он, он! Мятежник! В ЧК его!

Мясников шел по коридору Пермской ЧК, громко и жестко стуча сапогами. Каждый удар подошвы об пол как выстрел. Это был верный признак: начальник злился. И злился не на абстрактного врага, а на весь мир, который вдруг отказался укладываться в простые формулы.

Как тут не злиться? Перед уходом Дарья, его Доник, потянула его за рукав и спросила тихо, будто боялась собственных слов:

– Говорят, вы там батюшку арестовали? Андроника? Не расстреливайте его! Прошу тебя – не убивайте.

Мясников опешил:

– А ты че, детей крестить собралась? Или в богомолицы податься? Что за защитница такая выискалась? – бросил он.

– Ганька, – голос Дарьи стал настойчивым, слегка сиплым от волнения. – Не стреляй отца Андроника. Не стреляй. Хороший он. Один такой. Все люди в один голос говорят – человечный. Помочь всем всегда готов. Не жирует, несмотря на высокий свой сан. С людьми беду делит. Не убивай. Боюсь я за тебя.

– Совсем рехнулась! – взорвался Мясников. – Ты что мне предлагаешь?! Он же контра! Бунт устроил! Пять тысяч человек на улицы вывел! Это угроза нам, мне, власти! Он показывает, что мы не власть, а мусор! А нас должны бояться, и он в первую очередь! Не дратуй меня, Дашка!

– Да люди сами вышли! Мирные они были! Праздник у них был святой, который они веками праздновали! А много их было, потому что священника любят. Уважают!

– А нас, значит, не любят и не уважают?! – он перешел почти на крик, как на митинге, тыча пальцем в грубый стол. – Советскую власть, которая рабочим все дает, не любят и не уважают?!

Доник вдруг прильнула к нему, обняла, вжалась лицом в его шею, и сказала в тишину, наступившую после его крика:

– Люблю я тебя очень. И боюсь за тебя. Плохо, когда ненависть повсюду кипит…

Он хотел что-то сказать – отбрить, объяснить, растолковать. Но слова застряли в горле комом. В сердцах плюнул на пол – густо, с ненавистью ко всему: к ее глупости, к ее страху, к этому «святому», которого «все любят», к своей собственной ярости, которая вдруг стала такой беспомощной. И хлопнул дверью так, что задребезжали стекла в окне.

И вот теперь он шел по коридору, и этот хлопок все гудел у него в висках. Мысль билась в голове как шальная муха: «Любят… Уважают… Боюсь за тебя…»

Это его, Мясникова, должны были бояться. Его! Страх – цемент новой власти. А этот поп… этот Андроник… Да, его любили. И это было пострашнее бунта.

Дежурный у двери его кабинета, завидя начальника, вытянулся в струнку, лицо стало каменным. Мясников прошел мимо, не глядя, пихнул сапогом дверь, она с грохотом ударилась о стену. Подошел к окну, уставился на грязный двор. «Плохо, когда ненависть повсюду кипит». Слова жены вертелись в голове, кололи, как шило.

Он резко открыл дверь в коридор, крикнул дежурного:

– Архиерея ко мне. Сейчас же! – бросил Мясников. Его голос был низким, ровным, без дрожи. Весь гнев, вся досада, вся лихорадочная ярость схлопнулись в одну точку – в холодную, четкую точку приказа. – И ко мне – никого! Чтобы никто не мешал.

Дежурный исчез. Мясников сел в кресло. Лицо его стало непроницаемым, каменным. Только в уголке глаза, у самого виска, дергался мелкий, неконтролируемый нерв. Сейчас он увидит этого «вселюбимого» человека. И заставит его бояться. Должен. Иначе – вся его жизнь, вся эта ярость, весь этот путь от заводского станка до этого кабинета просто плевок на полу.

Дверь открылась. Архиепископ Андроник вошел не как арестант – как пастырь, зашедший в неправильный дом. Сутана поношенная. Лицо – как на суровых северных иконах. Словно из камня высеченные глаза, в которых не было страха. Он остановился посреди кабинета и молча смотрел на Мясникова. Как Христос смотрел на Пилата: не прося, не обвиняя, а просто глядя.

Этот взгляд обжег Мясникова. Он резко дернулся.

– Вы, гражданин, – начал он, нарочито грубо, – понимаете, что бунт устроили? И как, вам кажется, должна реагировать власть на ваши тысячи митингующих? – Он ударил кулаком по столу, не сильно, но звонко. – Вы думали о том, что вас ждет тюрьма? Закрытие церквей? Вы же это все сами спровоцировали! И власть – власть на это ответит.

Голос его рвался в крик. Он хотел испуга в ответ. Хотел, чтобы этот «святой» затрясся, залепетал, оправдывался.

Андроник поднял на него глаза. Голос был тих, но каждое слово падало как камень.

– Власть? Какая власть? Ваша? Она минует, как болезнь. Вы – смута. И пройдете.

– ХВАТИТ! – Мясников ударил кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула, забрызгав бумаги. – Мы хребет вашей тысячелетней мерзости навсегда перебили! Слышишь? НАВСЕГДА! Вашего Бога нет! Вашего царя нет! Есть МЫ!

Уголки губ Андроника дрогнули. Это была невеселая улыбка, в ней сквозила жалость.

– Заблуждаетесь. Тому, что было тысячу лет, «перебить хребет»? Тут нужно вмешательство Бога. А Он не на вашей стороне. Крови много. Ваше время недолгое. Вы сеете ненависть. А что взойдет? Ненависть же. И пожнете вы ее сполна. Это не угроза. Это – закон.

– ЗАКОН?! – Мясников задохнулся от бешенства. – Твой закон – это рабы и попы! А наш закон – будущее! Мы его кровью строим! Да, кровью! А вы… вы что, кровь не лили?! – Его лицо исказила торжествующая гримаса. – А в пятом году?! Когда поп ваш, Гапон, людей в праздничных одеждах повел под пули? Чьи это были пули, а?! Царские! Ваши! Где же был ваш Бог? Кровь рабочих тогда лилась рекой! Или она не в счет?!

Он выпалил это, ожидая смятения. Думал, что наконец-то сорвет с этого лица маску святого.

Андроник вздохнул. Вздох был тяжелым, но взгляд – несломленным.

– За тот грех… они свой ответ уже держат. И еще держать будут. Перед Богом и совестью. А вы – за свой. Не перекладывайте свой счет на чужие могилы. Ваша кровь – на вас.

В кабинете повисла тишина.

– У них – свой грех. И свое наказание. У каждого своя Голгофа.

Слово «Голгофа» повисло в воздухе. Мясников замер. Его собственная, невысказанная мысль вырвалась наружу. Что заставляет человека идти на Голгофу? Повторять путь Христа?

Вопреки страху. Он смотрел на этого сурового человека в поношенной рясе, которого «все» отчего-то любили, и вдруг с ясностью понял: этот пойдет на Голгофу. Добровольно. И не от безумия. В Андронике чувствовалась такая же убежденность, такая же уверенность, как и у него самого, менее яростная, но более глубокая. Только с обратным знаком.

Кабинет погрузился в густое, давящее молчание. И вдруг тихий голос Андроника разрезал тишину как лезвие:

– А что ж вы со мной правду-то ищете, гражданин чекист? У вас ведь своя правда есть. И свой бог – Карл Маркс с Лениным. И апостолы во главе со… Свердловым, кажется? Я слышал о его проповедях на Урале. Он тут промышлял – души ловил, веру вашу нес. Науку ненависти. Все, что дорого, – ненавидеть и разрушить. У революционера не должно быть привязанностей… Да… – Андроник медленно покачал головой. – А вот в вас… в вас я сомнения чувствую. Что, своей веры не хватает? Крови много, а веры – не хватает.

Мясников хотел ему ответить, но не успел.

– Вы спрашиваете, где мой Бог? Он ушел, видя, что творят люди. А ваш идол, ваши пророки – они будут низвергнуты с небывалой яростью. Потому что все, что вы делаете, построено не на любви, а на ненависти. Не на созидании, а на разрушении. А все, что не несет в себе любви к живому человеку, обречено. Закон бытия. Возмездие неизбежно. Оно уже идет. Вы его не видите, но оно дышит вам в спину. И настигнет.

Слова Андроника падали как камни.

– Ваша власть рождена в ненависти. В классовой ненависти. И это ее первородный грех. Она умеет только разрушать. А когда разрушать будет нечего, она начнет пожирать саму себя. Чека – ваш любимый ребенок, ваше чадо. Оно вырастет и сожрет вас.

Удар пришелся не в идейную нагрудную броню, а под дых, в то самое больное место, которое нащупала утром Дарья. Мясников почувствовал, как по спине побежал холодный пот. Он сглотнул.

– Мы… новый мир строим, – глухо произнес он, как заученную мантру. – Без крови он не построится.

– Ну, стройте, стройте, – почти мягко сказал Андроник. – Но кровь вам вернется. Может быть, не сразу. Но обязательно вернется. Это закон. Не наш, не ваш. Свыше.

И он воздел палец вверх, как Христос на иконах в отцовском доме.

Мясников не нашелся что ответить. Гнев испарился, осталась лишь странная, щемящая пустота. Он поймал себя на том, что ему хотелось слушать дальше. Слушать этот тихий, непоколебимый голос, говоривший о вещах, в которые он, Мясников, не верил, но которые вносили в него сомнение. Он понимал, что затягивает паузу. Что допрос закончился, а началось что-то другое. И ему не хотелось, чтобы это другое заканчивалось.

Дверь скрипнула. В проеме появилась усатая рожа Жужгова.

– Товарищ начальник, пре…

– ВОН! – взревел Мясников с такой силой, что Жужгов отпрыгнул от двери.

Тишина снова сгустилась, но теперь она была иной. В ней висело признание.

Мясников не смотрел на Андроника. Поглядел в запыленное окно, за которым чудились вспышки выстрелов, а потом вышел. Подозвал Жужгова.

– Не трогать его. Ни пальцем. Отвести в камеру. Я уезжаю на три дня. Приеду – еще раз допрошу. Он мне… для новых показаний нужен.

Последнее прозвучало фальшиво, как пароль, который не открывает дверь. Жужгов кивнул: «Так точно, товарищ начальник». Но в его глазах мелькнуло недоумение.

Мясников вернулся в кабинет, к столу, делая вид, что роется в бумагах. Он чувствовал на себе спокойный, тяжелый взгляд Андроника. Он нужен. Нужен как единственный человек, который заставил его вспомнить о другой правде. Пусть чудовищной, пусть враждебной. Но – правде: «Придет время – и ваша власть начнет пожирать саму себя».

Голгофа

Пермь, 20 июня 1918 года

Глубокой ночью со двора Пермской ЧК, освещенного тусклым фонарем, выехал фаэтон. Правил чекист Платунов. Внутри – архиепископ Андроник в темной рясе, с панагией на груди и посохом в руке. Он сидел прямо, смотря куда-то поверх голов лошадей, в ночную синеву. Рядом с ним, прижавшись к складке рясы, Николай Жужгов. Его взяли «на похороны» по его же настойчивой просьбе.

Молчание в фаэтоне было разным. У Андроника – скорбное и ясное, как его панагия. У Жужгова – злобное от этой близости к тишине, которую он не мог нарушить. Он ждал страха, слез, хоть какого-то признака, что этот «поп» всего лишь испуганный старик. Но страха Жужгов не чувствовал. Это бесило.

Лошади бежали по спящему городу: сначала по Сибирской, потом по тракту. Фонари остались позади, их сменила полновластная хозяйка ночи – полная, холодная луна. Она заливала мир безразличным, хирургическим светом, вырезая из темноты колею, спины лошадей, бледные лица. Она была единственным свидетелем готовящегося преступления.

Фаэтон выкатился на бескрайнее плоское пространство. Ассенизаторские поля. В свете луны блестели не лужи, а целые озерца нечистот, темные бугры мусора отбрасывали уродливые тени. Воздух гудел от сладковато-приторной вони разложения и известки. Жужгов наконец нашел, за что зацепиться. Он повернулся в сторону Андроника и прошипел, язвительно, на весь фаэтон:

– Ну вот, попик, сколько тебе елея мы напоследок отвалили, – он широко повел рукой, очерчивая это царство дерьма и гнили.

Андроник медленно повернул к нему голову. В лунном свете его лицо под клобуком казалось высеченным из слоновой кости – ни страха, ни отвращения. Только глубокая, бездонная скорбь. Он посмотрел на Жужгова не как на врага, а как на тяжело больного:

– Вы всю страну в нужник превратить можете, если вас не остановить.

Это было не проклятие. Это был диагноз – простой и от этого невыносимый. Жужгов сглотнул воздух, полный вони, и не нашелся что возразить. Только ненависть закипела внутри горячей волной.

Лесная развилка. Столб четвертой версты, поворот налево, в чащу. Сто саженей – и остановка. Луна теперь пробивалась сквозь редкие кроны, рисуя на земле черные кружева. Андроника вывели из фаэтона.

– Копай, – коротко бросил Платунов, протягивая лопату.

Андроник осенил себя крестным знамением, снял панагию и клобук, аккуратно сложил их на землю. Потом, не глядя на палачей, начал рыть.

Звук лопаты, вгрызающейся в землю, был громким в ночной тишине. Ш-ш-ш-х… Ух… Ш-ш-ш-х… Это был нечеловечески тяжелый труд. Земля не поддавалась, яма выходила то короткой, то узкой. Ему пришлось подрывать ее несколько раз, стоя уже внутри, по пояс в сырой тьме. Он работал молча, методично, с каким-то странным усердием. Казалось, он не роет себе могилу, а совершает последний важнейший обряд – готовит ложе для своего тела, чтобы не обременять им никого.

И странное дело: пока он копал, пока они, куря, наблюдали за его спиной, согнувшейся в этом неестественном труде, вонь исчезла. Или перестала иметь значение. Ее перебил запах свежевскопанной влажной земли – древний, чистый и печальный. Латыши Добелас и Падернис переглянулись. У одного мелькнула мысль о дедовском хуторе и могиле, которую он маль-

чишкой помогал копать для старой соседки. Другой вдруг с отчетливостью вспомнил церковь в Риге, куда его водила мать, и то особое, пахнущее воском и тишиной чувство, которое он там испытывал, а потом навсегда вытравил из себя как слабость. Им обоим стало не по себе. Они отводили глаза.

Жужгов же не отводил. Он смотрел, как этот старик, весь в грязи и поту, отбрасывает последний ком земли и, тяжело дыша, останавливается. Ни тени протеста. Только завершенность.

– Готово? – хрипло спросил Платунов.

– Дайте помолиться, – просто сказал Андроник.

Ему кивнули. Он выбрался из ямы, отряхнул руки, встал на колени рядом со своей могилой, лицом к луне. Он молился десять минут.

Шептал не за себя, а, казалось, за них, за всю эту землю, за всю погубленную жизнь. Потом встал, повернулся на четыре стороны света – к городу, к лесу, к тракту, к далеким Уральским горам. Он не благословлял это место. Он прощался с миром. И сказал, обводя их всех взглядом скорбного врача:

– Я готов.

И сам лег в могилу.

Это было слишком. Эта абсолютная готовность к смерти лишала их последней иллюзии, что они вершат правосудие, а не убивают. Платунов, стараясь вернуть всему происходящему «деловой» вид, первым швырнул ком земли. Он угодил Андронику прямо в лицо.

Тот не дрогнул, лишь закрыл глаза.

Жужгов не выдержал. Его затопила бешеная, иррациональная ярость от этого спокойствия, от этого взгляда, от запаха земли, а не дерьма. Он выхватил наган и, не дожидаясь, пока тело скроется под слоем грунта, выстрелил. Потом еще. Пули вошли в землю, уже присыпавшую рясу. Платунов, чтобы не отстать, тоже выпалил дважды – нервно, почти не целясь.

Из-под земли не донеслось ни стона.

Жужгов подошел вплотную к свежей могиле. Его трясло. Чтобы заглушить тряску, чтобы окончательно победить этого призрака в рясе, он приставил дуло к тому месту, где должна была быть голова, и сделал контрольный выстрел. Звук получился негромкий, приглушенный землей.

– Заравнивайте, – скомандовал он осипшим голосом.

Латыши молча принялись за работу. Когда земля легла ровно, Платунов достал из кармана часы на цепочке и панагию.

– Дележ, – сказал он без выражения.

Жужгов взял позолоченную цепочку. Она была еще теплой. Он судорожно сунул ее в карман. Садясь в повозку, он обернулся. На месте могилы был лишь невысокий, рыхлый бугорок, который первый же дождь сровняет с землей. Но луна, все та же, холодная и чистая, светила прямо на него, выделяя это место из общей темноты поля. Она запомнила. Она была свидетелем.

Возмездие

Мясников вернулся из поездки по губернии в мутном, раздраженном настроении. Дорожная пыль въелась под воротник, в ушах стоял гул от бесконечных разговоров о хлебе, реквизициях и саботаже. Ему нужны была тишина и ясность. Та ясность, что бывает после спора с умным противником. Почти машинально, скидывая потертый пыльник на спинку стула, он бросил дежурному у лестницы:

– Приведите ко мне архиепископа Андроника.

Дежурный, молодой парень с белесыми, почти невидимыми ресницами, заморгал, как сова на солнце.

– Так его… это… того…

– Чего «того»? – Мясников остановился, медленно поворачиваясь.

– Так в распыл пустили… ночью сегодня, – выдавил постовой.

Сначала непонимание. Потом – холодная, тошнотворная волна, подкатившая откуда-то из глубины живота. «Распыл». Канцелярский революционный термин, который Мясников не раз использовал и сам. Теперь он ударил его же самого по лбу, как выстрел из рогатки.

Затем – бешенство. Оно пришло не сразу. Сначала была тишина. Абсолютная, вакуумная. В ней пропали все звуки: шум с улицы, скрип половиц, крики с внутреннего двора, собственное дыхание. Потом этот вакуум взорвался изнутри. Неописуемое, белое, неоформленное бешенство, от которого на мгновение потемнело в глазах.

– Где Жужгов? – его собственный голос прозвучал чужим, сдавленным. – Срочно ко мне. Немедленно.

– Он выпимши… Ночью работал, – попытался объяснить дежурный, съеживаясь.

– Ну не сдох же? – Мясников прошипел, уже поднимаясь по лестнице, и каждый шаг отдавался в висках тяжелым ударом. – Пусть явится, раз живой.

Через десять минут кабинет наполнился запахом – не просто перегара, а густой, кислой сивухи, смешанной с потом и вонью немытого тела. Жужгов стоял в дверном проеме, покачиваясь. Лицо было землистым, глаза мутными, но в них плавала наглая пьяная уверенность.

Мясников не стал садиться за стол. Он подошел к Жужгову вплотную, так что запах ударил в нос резче, чем нашатырь. Он не кричал. Он зашептал, вкладывая в этот шепот всю накопленную ярость:

– Ты почему, сука, мой приказ нарушил?

Жужгов мутно уставился куда-то ему в кадык.

– Я тебе приказывал священника не трогать! – Шипение стало громче: – Приказывал, гад? Отвечай!

Жужгов медленно поднял на него взгляд. В пьяных глазах вспыхнул обиженный, звериный огонек.

– Он мне угрожал! – хрипло выдохнул он. – Мне, замначальника милиции, угрожал какой-то попик!

Новая волна ярости, уже граничащей с истерикой, захлестнула Мясникова. Он вцепился пальцами в гимнастерку Жужгова.

– Чем он тебе угрожал, падла? Чем?! Наган выхватил и к морде приставил?

Тот попытался выпрямиться, его качнуло назад.

– Возмездием пугал! – вдруг рявкнул он, и его голос эхом отозвался в кабинете. – У нас приказ из Москвы – всех попов в распыл! И ты мне здесь, Мясников, не указ!

Все. Картина сложилась. Страшная, идиотская мозаика. «Возмездие неизбежно настигнет». Эти слова, сказанные в этой же комнате, рикошетом вырвались из пьяной глотки этого

ничтожества. Андроник не просто умер. Его смерть – смерть мученика – открыла дорогу к неизбежному возмездию.

Ярость внезапно схлынула, сменившись ледяным, презрительным омерзением. Мясников отпустил гимнастерку, отшатнулся, будто от прикосновения к прокаженному.

– Ты, тварь безмозглая… – сказал он уже спокойно, но с такой плотной ненавистью, что даже пьяный Жужгов на миг замер. – Неуч ты поганый. Я за тебя все твои безграмотные отчеты по полночи исправляю, а ты учиться не хочешь. Вот поэтому из тебя дерьмо и прет. Ты же мстишь. Мстишь всем за свое ничтожество. Изыди, гадина…

И, не дожидаясь, пока Жужгов, покачиваясь, развернется и поплетется к двери, Мясников резко оттолкнул его со своего пути. Не для того, чтобы повалить. Чтобы отодвинуть. Чтобы не касаться. И сам выскочил из кабинета, хлопнув дверью так, что на стене дрогнул портрет.

В коридоре он остановился, прислонившись горящим лбом к холодной штукатурке стены. В ушах все еще звенел пьяный крик: «Возмездием пугал!»

Через месяц Мясников бросил работу в ЧК.

Часть вторая. Парижская тайна

Черная вода

Черное море, ноябрь 1920 года

Семья одиннадцатилетней Поли оказалась на одном из последних судов, уходивших из Крыма. Это была старая, проржавевшая посудина. Капитан так и сказал: «Плывем в один конец». Не доплыли. Дырявое судно «Феодосия» захлебнулось недалеко от турецкого берега. Залатанная кое-как пробоина открылась с тихим, зловещим шипением. На судне было человек тридцать. Шлюпок на всех не хватило.

Отца, Валериана Сергеевича, оттолкнули от борта, когда ему удалось впихнуть в качающуюся лодку жену. Ее приняли – его нет. «Места нет! Следующая!» Следующей не было.

Поликсена не помнила, как оказалась за бортом. Удар о воду. Холод, вышибающий дух. И тьма, рвущаяся только огнями тонущего судна.

Рядом, беспомощно молотя руками по воде, захлебываясь, барахтался отец. Петербургский адвокат, знавший наизусть все нормы и кодексы, не умел плавать. Он ухватился за какой-то обломок, но тот крутился, нырял, не давая опоры. Его лицо, всегда такое уверенное, выражало полное недоумение перед неподвластной ему стихией.

– Папа! Держись! – закричала она, но ее голос утонул в криках людей.

Намокшая одежда тянула ко дну. И тут у девочки включилась память тела. Ей было пять лет. Няня Ава, чухонка, крепкая, молчаливая, с руками как корни, учила Поликсену не плавать – приручать воду, как дикого зверя.

– Не бойца, Поличка, – настаивала она со своим мягким, певучим акцентом. – Вода – она сильнее. Ты ей доверься. Руки раскинь, легкая будь. Ногами работай, как лягушка. Раз-два. Раз-два. Дыши ровне. Она тебя держит.

Те уроки не были игрой. Они были наукой выживания в холодной воде Финского залива.

Поликсена заработала ногами. Тот самый «лягушачий» толчок. Раз-два. Дыши. Раз-два.

Отец был в нескольких метрах. Он увидел, как его девочка уверенно держится на воде. В его глазах, полных ужаса, мелькнула секундная решимость, и он отчаянно рванулся – не к шлюпке, а к ней. Одной рукой цепляясь за скользкий обломок, другой он с силой рванул у себя на шее цепочку. В его руке блеснуло что-то маленькое, темное. Это был складень. Старый, потемневший. Она знала его – отец никогда с ним не расставался.

– Поли! Держи! – выдохнул он, едва дотянувшись до ее пальцев.

В следующее мгновение вода хлестнула отцу в лицо. Захлебываясь, он еще попытался сделать последнее, судорожное движение к ней, но волна накрыла его с головой – и через мгновение он ушел под воду. Не с плеском, а тихо, будто черная глубина просто разжала губы и втянула его, вода сомкнулась над его головой.

Девочка закричала: «Папа! Папа!», но крик застрял в горле. Ее сковало страхом так, что она не могла дышать. Вода била в лицо, ей не хватало воздуха, но она продолжала работать ногами. Раз-два. Раз-два. Ритм. Дыхание. Няня Ава: «Вода тебя держит». Она плыла, не зная куда, пока чья-то рука не вцепилась в ее воротник и не втянула в шлюпку.

Поликсена сидела в шлюпке, сжавшись в комочек, сотрясаемая крупной дрожью, не разжимая кулачка. В нем был складень – мокрый, холодный, острый. Много позже она поняла:

это была не только память об отце. Это был трофей. Трофей, вырванный у тонущего мира. И залог. Залог того, что она и мать будут жить. Залог того, что она, Поликсена, будет сильнее.

Сильнее черной воды. Сильнее смерти. Сильнее своих родителей.

Она поднесла складень к губам – не для поцелуя, а чтобы ощутить его твердь. Соль на губах. Тяжесть в руке. И тихий, новый голос внутри: «Теперь все на тебе. Это – твоя сила. И твой оберег».

Она поняла: чудо было не в том, что складень не утонул, а в ней самой. В ее десятилетних, скованных холодом, но упругих мышцах. В ее внезапном прозрении. В том, что здесь, в этой черной воде, она нашла саму себя – единственную, кто остался на плаву.

Вечером того же дня, когда их подобрало другое судно, шедшее тем же маршрутом, она, глядя на приближающийся турецкий берег и на черные волны, вдруг подумала о том, какими слабыми оказались ее родители. Отец – такой умный, такой уверенный в себе, мама, которую она безумно любила… Они не умели плавать. Их мир – тот, прежний, с книгами, умными беседами, зваными ужинами, – не умел плавать. И он утонул.

А она – умела. И не утонет.

Няня Ава научила ее не бояться холода, доверять воде, работать ногами. Научила выживать. И это умение оказалось важнее всех отцовских книг и материнских учебников и кружев. Здесь, на грани жизни и смерти, это оказалось единственным, что имеет значение.

Знакомство

Париж, март 1998 года

Русскую бабушку Тристана, не утратившую в своем возрасте женского шарма и осанки, звали Поликсена Валериановна. Для французов она была просто Поли, с ударением на последний слог.

«Боже мой, вот они, настоящие аристократы, – подумала Ника, наблюдая, как Поликсена изящно обнимает внука. – Ну чем не русская графиня из старого романа?»

В этот момент «графиня» повернулась к ней:

– Очень рада наконец познакомиться лично, – произнесла она и протянула руку для пожатия.

Рука была узкая, с тонкими пальцами, украшенными несколькими старинными кольцами. Ника лишь слегка коснулась ее кончиками пальцев, боясь сжать хрупкие косточки. В памяти невольно всплыли строчки Блока:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

«Древними поверьями… Да, именно этим от нее и веет, – подумала Ника. – А еще забытыми в России манерами, самой атмосферой, ее окружавшей».

– Как отрадно, что в России не перевелись красавицы, – с легкой улыбкой заметила Поликсена Валериановна. – Недавно у нас был граф Петр Петрович Шереметев, вернувшийся из Санкт-Петербурга, куда его пригласили новые власти обсуждать переименования. Так он уверял, что нынешнее население города совершенно не соответствует его архитектурному стилю.

Ника вспомнила, что в 1991 году, когда она еще училась в институте, по телевизору было много дебатов по переименованиям в Ленинграде. Некоторые надписи на плакатах, с которыми выходили люди, ратующие за то, чтобы Ленинграду вернули наконец историческое имя, казались ей тогда очень смешными: «Петр построил Петроград, а не ты, плешивый гад!» или «Меняю город дьявола на город святого!».

Тристан, обнимавший бабушку за плечи, снисходительно улыбнулся. Для него эти русские споры о названиях были милой, но далекой архаикой вроде дискуссий о мушкетерах для французов.

– Опять твои эмигранты ссорятся из-за прошлого, ба? – ласково проворчал он, целуя ее в седой висок. – Там уже все другое, а вы все Петров да Лениных вспоминаете.

И, словно уловив ход мыслей Ники, хозяйка дома, взглянув на нее прозрачными, как хрусталь, голубыми глазами, спросила напрямую:

– А как ты относишься к большевикам? Как они там сейчас?

Вопрос был настолько неожиданным, из другого времени, что Ника на несколько секунд застыла.

– Так ведь их… их уже давно нет, – неуверенно вымолвила она.

– Куда же они подевались? – Поликсена Валериановна приподняла бровь. – Были, были и вдруг – нет? – Ее насмешливый, немигающий взгляд был непроницаем.

Ника растерялась. Она знала, что большевики – это революционеры во главе с Лениным, боровшиеся с меньшевиками и свергнувшие царя. Но это было так давно…

Не дав ей опомниться, общительная и, видимо, сильно соскучившаяся по русской речи бабушка уже собиралась развить тему, но ее перебил Тристан. Он преувеличенно, театрально понюхал воздух и приложил руку к животу.

– Ба, у меня уже настоящий бунт в желудке… Запах твоего миндального печенья – это мое детство. Я женюсь только на той, кто повторит твой кулинарный шедевр, клянусь!

– Да я вижу, и без повторов женишься, – с нежностью парировала Поликсена, с улыбкой глядя на внука. – Дай мне Бог русское потомство при жизни увидеть.

Тристан подмигнул Нике, как соучастнице, и обнял ее за талию.

– Слышишь? На нас с тобой большие планы. Русский десант в Париже.

Ника порозовела от смущения и, чтобы сменить тему, весело предложила:

– Да-да, давайте чай пить, а то историю без чая обсуждать тяжело!

– Ну конечно же! Что это я… – спохватилась Поликсена Валериановна и, сверкнув кольцами, пригласила всех в гостиную.

За чаем в чашках из тонкого фарфора с позолотой исторический экскурс продолжился.

– А знаешь ли ты, милая, – сказала Поликсена, обращаясь к Нике, – что в одном со мной парижском доме жил настоящий большевик. И не простой, ой не простой… Мясников. Гавриил Мясников.

Тристан, намазывая маслом печенье, покачал головой с комичной серьезностью.

– Вот видишь, Ника? Не пришли бы мы к бабушке в гости – не знали бы, что наша семья связана с международной преступностью. Большевик в доме! Ужас!

Он говорил это с такой легкой французской иронией, что даже Поликсена фыркнула.

– Ужас, да не тот, – отрезала она. И тут же продолжила: – Это было в самом начале тридцатых, до того как я устроилась в IRFĒ.

Ника, конечно же, не знала, что такое IRFĒ, и Поликсена оживленно объяснила.

– Это модный дом, его создал князь Феликс Юсупов. Да-да, он самый, который этого омерзительного мужика Гришку Распутина отправил на тот свет, – говорила Поликсена так, словно сама была свидетельницей тех событий. – Вы только представьте себе, этот наглец царицу «мамой» называл! Князь нам все это лично рассказывал и в лицах показывал. Очень артистичный был человек. Мороз по коже пробирал…

Тристан при этом взял со стола серебряную ложку, приставил к виску, изобразив пистолет, и трагическим шепотом прошептал: «Феликс, Феликс, зачем?» Он с детства знал эту семейную историю и любил ее обыгрывать.

– Тристан, не кощунствуй! – попыталась сделать строгое лицо Поликсена, но глаза ее смеялись. – Мне тогда, правда, мало лет было, я Распутина не помню. Но потом он мне по ночам снился, представляешь?

Для Поликсены Валериановны эта встреча стала настоящим праздником памяти. А вспомнить было о чем.

– Мой отец был адвокатом, – обратилась она к Нике. – И представь, он в Симбирской гимназии с самим Лениным учился. А директором у них был отец Керенского!

Тристан откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу.

– Итак, резюме: моя бабушка была знакома с большевиком, который, возможно, убивал людей. Ее отец учился с Лениным и считал его прохвостом. А она сама пила чай с убийцей Распутина. – Он сделал паузу для драматического эффекта. – Знаешь, Ника, я начинаю думать, что наша семья не такая скучная, как мне казалось. Это же готовый роман!

До сих пор революция, Ленин, «Аврора» казались Нике чем-то очень далеким, чуть ли не времен Пунических войн и разрушения Карфагена. Ее манило будущее, а история из учебников представлялась скучной «обязаловкой». А здесь, в уютной парижской гостиной, за ста-

ринным сервизом, она вдруг поняла: история – живая. Она не кончается, она оставляет шрамы и тени, которые тянутся через поколения. Нет никакой «совершенно новой России», возникшей из ниоткуда. Есть одна страна, с ее царями и комиссарами, белыми и красными, со всей ее болью и памятью, которая и породила сегодняшний неоднозначный день.

Она перевела взгляд с оживленного лица Поликсены на ироничное – Тристана. И поняла, что стоит ровно посередине: между все еще живой и болезненной памятью о прошлом и легким, почти посторонним любопытством к казусам истории.

– Тристану бы все шутки шутить, – глядя на внука, сказала Поликсена. – Он хоть и говорит по-русски, а сам как чистый француз. А французы историю не любят и не знают. Им бы все вперед бежать, к прогрессу… Не доходит до них, что нет прогресса без истории.

Она помолчала, но, видя неподдельный интерес в глазах девушки, тут же продолжила, смакуя детали:

– А Ульянов-то, будущий Ленин, кстати, адвокатом был никудышным. Да-да, ни-ку-дышным! Мой отец, помню, смеялся: говорил, этот Ленин до сорока лет у матери на содержании был! Заставил ее дом и землю продать, чтобы ему на жизнь в Париже хватало, на просторную квартиру да на революционные книжки. Безжалостный был человек. Без сердца.

Тристан, до этого момента сохранявший игривый тон, вдруг серьезно посмотрел на бабушку, потом на Нику.

– Вот видишь, – сказал он уже без тени иронии. – Это и есть ваша русская загадка. Человек, который заставлял мать продавать землю, чтобы жить в Париже в комфорте… И который потом стал иконой для страны, отказавшейся от всего частного. По-моему, здесь какая-то фундаментальная ошибка в системе. Или гениальный трюк.

Его слова повисли в тишине. Даже Поликсена, казалось, задумалась над этой простой, но емкой формулировкой своего внука.

Монастырь

Франция, 1925 год

Ее мать умерла тихо, в келье для бедных странниц, от тоски, которая свела ее в могилу увереннее любой чахотки. Но Поликсену не отправили в приют. Игуменья, женщина с лицом как резная кость и с глазами, видевшими много горя, сразу оценила ее: прямая спина, твердый взгляд, уже отвыкшие плакать глаза, тихий, но уверенный голос.

– Будешь петь, – сказала она, не спрашивая. – У нас хор. Для служб и для… благотворительных концертов. Будешь учиться в нашей школе. За это – крыша над головой и миска супа. Согласна?

Согласия никто не ждал. Это был приказ. И контракт.

Хор был не утешением, а работой. Девочки-хористки – такие же обломки разбитых миров: русские, сербки, гречанки, армянки. Их объединяло не благочестие, а общая для всех катастрофа. Между репетициями, на заднем дворе, они учили друг друга ругательствам и нехитрым песням на пяти языках. Это была первая «академия» Поликсены. Она впитывала языки не из учебников, а из горловых звуков, из смеха, из слез, из совместного выживания. Французский она выучила от белокурой эльзаски, чью семью выгнали со своей земли. Итальянские рулады – от дочери неаполитанского певца, сгинувшего на войне.

Школа при монастыре была жесткой. Там не было места сантиментам. Там учили арифметике (чтобы не обманули на рынке), географии (чтобы знать, где теперь твоя родина), истории (чтобы понимать, почему ты здесь оказалась) и каллиграфии (чтобы можно было переписывать ноты или документы). Это была школа не для дам, а для будущих солдат эмиграции, которым предстояло выжить любой ценой.

Свои первые гроши – настоящие, звонкие монеты – Поликсена получила после одного из «благотворительных концертов» для богатых горожан. Они пели что-то возвышенное, а солировала она, потому что у нее был самый чистый, прозрачный голос – сопрано, в котором, как ни странно, не было ни капли детской наивности, только бесконечная затаенная печаль. После концерта какая-то пожилая дама в кружевах подозвала ее и, прослезившись, сунула в руку несколько франков.

– За голос ангела, – прошептала она.

Поликсена поклонилась, не улыбнувшись. Эти деньги были не наградой. Они были первой зарплатой. Платой за превращение ее боли, тоски по дому и памяти об отце, тонущем в черной воде, в нечто красивое и благозвучное для слушавших их людей. Она купила на них не сладости, а самые крепкие нитки и иголку – чтобы чинить свое единственное платье.

Исповедь

Поликсена замолчала, отпивая из чашки остывший чай. Ее взгляд, еще секунду назад блуждавший где-то в воспоминаниях, внезапно стал острым и сосредоточенным. Он остановился на Нике, будто заново оценивая ее.

– Тристан, mon chéri, – она повернулась к внуку, и в ее голосе прозвучала мягкая, но не допускающая возражений просьба. – Сходи вниз в чайную, я хочу подарить Нике твой любимый чай – с отдушкой манго, ты знаешь.

– Ба, мы сами его купим на обратном пути.

– Сходи, пожалуйста, сейчас. Для меня, – она положила свою узкую, в кольцах руку на его ладонь. В жесте была не просто просьба, а указание.

Тристан слегка удивился, метнул быстрый взгляд на Нику, но лишь пожал плечами с улыбкой:

– Как скажешь, диктатор.

Он поднялся, поцеловал бабушку в щеку, подмигнул Нике. Его шаги затихли в коридоре, за ним мягко закрылась дверь. В гостиной воцарилась тишина, теперь уже другая – более плотная, настороженная. Шум Парижа за окном стал лишь глухим фоном.

Поликсена Валериановна не сразу заговорила. Она поправила складки на своем платье, собрала со стола несуществующие крошки и только потом подняла глаза на девушку. Ее легкость, светскость куда-то исчезли.

– Приходи завтра снова ко мне, – сказала она тихо, но четко. – Завтра. Одна. То, что я вам тут рассказывала, – это… так, десерт. Болтовня для поддержания разговора. А есть главное блюдо. Его не подают при всех.

Она сделала паузу, давая словам проникнуть в сознание.

– Расскажу тебе о Мясникове… о том, что было тогда, в той квартире… и что случилось потом. Случилось то, что не должно быть забыто. И не должно быть рассказано походя. Понимаешь?

Ника почувствовала, как у нее похолодели кончики пальцев. Она кивнула, не в силах произнести ни слова.

– Я прожила долгую жизнь, – продолжила Поликсена. – Видела многое. Но это я расскажу только тебе.

Она поднялась с кресла, ее фигура в лучах закатного солнца, пробивавшегося сквозь тюль, казалась хрупкой и сильной одновременно.

– Завтра, в три. Я буду ждать. Без Тристана. Это будет наш разговор. Только ты и я. Обещай, что придешь.

Это не было приглашением. Это было условием. И Ника, все еще ошеломленная, снова кивнула:

– Я приду, конечно.

– Хорошо, – Поликсена Валериановна слегка улыбнулась. – Тогда до завтра. А сейчас вам пора.

Торжественно вручив Нике изящный пакетик с чаем с отдушкой манго, принесенный Тристаном, она проводила обоих до двери. Обнимая ее на прощание, Поликсена еще раз сжала ее руку – на этот раз сильно, почти болезненно – и шепнула:

– Завтра. В три часа. То, что ты услышишь, – изменит… многое. Или ничего. Это уже будет зависеть только от тебя!

Спускаясь вслед за Тристаном по спиральной лестнице старого парижского дома, с ее изящными бронзовыми перилами, Ника еще видела перед глазами ясный и полный силы взгляд

этой удивительной восьмидесятивосьмилетней женщины. В ушах еще стоял запах старого паркета, чая и духов, а в голове – последние слова русской бабушки ее французского возлюбленного. Она поняла, что там, за дверью, осталась иная реальность, где прошлое не отпускает, а тихо ждет своего часа, чтобы снова заговорить – шепотом, полным невысказанных страданий и нераскрытых тайн.

На следующий день, ровно в три, Ника позвонила в дверь квартиры Поликсены Валериановны. Дверь открылась быстро – ее ждали.

– Заходи, милая. Я рада, что ты не передумала.

Сегодня Поликсена была одета проще, без ярких колец, только одно – тонкое золотое обручальное – оставалось на ее пальце. В гостиной стоял запах не печенья, а старой бумаги и воска для мебели. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь полупрозрачную штору, выхватывал из полумрака пылинки, танцующие в воздухе, и портрет молодой красивой женщины в старинной раме – самой Поликсены, должно быть, довоенных лет.

– Садись, пожалуйста, вот сюда, поближе, – она указала на кресло рядом со своим диванчиком. Голос ее был тихим, ровным, без вчерашней светской оживленности. – Я попросила Тристана не приходить сегодня неспроста. Он… он мой свет, мой мальчик. Но он вырос здесь. Для него Россия – это мои рассказы, рецепты борща и сложные буквы в книгах. Он обязательно стал бы подшучивать. А то, что я хочу тебе рассказать, не повод для шуток. Это наша, сугубо русская история…

Поликсена замолчала, глядя куда-то мимо Ники, вглубь своих воспоминаний. Она обхватила локти тонкими руками, будто ей внезапно стало холодно.

– Я тебе говорила о Мясникове. Я хорошо его знала, так вот: он однажды напился – очень сильно – и выдал мне свою тайну… Это была исповедь. Или хвастовство безумца. Я до сих пор не знаю, что именно. Он кричал в окно, ругал Париж, французов и весь мир, а потом обернулся ко мне… Ты помнишь, я говорила, мы жили в одном доме. Это было у него в квартире, я пришла сдать ему напечатанное. Он был чудовищно пьян. И вот он посмотрел на меня своими мутными, страшными глазами и прошептал… – Она сделала паузу, подбирая точные слова, которые хранила в себе десятилетия. – Тихо так прошептал, но отчетливо: «Вы думаете, я голодранец? А я, между прочим, несметно богат. В Перми, под уроборосом, лежит и ждет меня алмаз самого царя – Михаила Романова!..»

Взгляд Поликсены вновь сфокусировался на Нике.

– Видишь, какая история? Был ли у него этот перстень на самом деле или это пьяный бред, похвальба палача, который хотел казаться значительнее, чем был… Кто знает? Он много говорил потом, что-то бормотал себе под нос уже в беспамятстве, о каком-то кладбище, о знаке – именно так, о Знаке, о «молчании, которое должно говорить». Все это было очень бессвязно. Я тогда слушала и думала: «Боже, какой кошмар, когда же он уснет…» Потом он обо всем этом, похоже, забыл. Больше я от него ничего подобного не слышала. И все же…

Она наклонилась к Нике, и ее голос стал еще тише:

– Если допустить, что хоть капля правды в этом была… Если была… – Поликсена замолчала, давая словам осесть в сознании. – Будь я на твоем месте, будь я сейчас в России, где открываются архивы, где земля наконец-то начала отдавать свои тайны… я бы обязательно проверила. Не ради богатства – а ради… ради памяти жертв той страшной Гражданской войны, ради самой истории. Чтобы поставить в ней точку. Или многоточие.

Она немного помолчала и продолжила уже более легким тоном:

– Вот то, что я хотела тебе сказать. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. И у тебя теперь есть эта странная история. Что ты с ней сделаешь – забудешь, как курьезный бабушкин рассказ, или… – она не договорила, лишь развела руками. – Решать тебе. Я просто передала тебе тайну. То, что когда-то мне, сам того не ведая, передал тот пьяный, несчастный, страшный человек.

В комнате воцарилась тишина. Пылинки все так же кружились в луче солнца. Ника чувствовала, как в ее сознании что-то щелкнуло и сдвинулось с места. Это уже была не книжная история. Это была карта с одной-единственной, но очень смутной отметкой: «Пермь. Уроборос». Карта, ведущая не к кладу, а к истине, которая могла оказаться мифом. Но могла и не оказаться.

Благословение

Поликсена замолчала, но на этот раз ее молчание было не паузой, а погружением. Она не просто смотрела на Нику – она видела ее суть.

– Моя дорогая. В тебе есть сила. Внутренняя сила. Ты об этом даре даже не подозреваешь. Я почувствовала это сразу – когда ты вошла вчера, коснулась моей руки, даже когда слегка растерялась от моих вопросов. Это невозможно спутать ни с чем.

Она поднялась с дивана – не для театральности, а потому, что ее слова требовали движения.

– Ты думаешь, ты мне понравилась за красоту? Или потому, что мой внук счастлив с тобой? Да, но не только… Красавицы и здесь есть. Я благословляю тебя за то, что ты – наша. За то, что в тебе живет та самая âme slave mystérieuse – загадочная славянская душа. Не та, про которую пишут в романах для иностранцев. А настоящая.

Она подошла к окну, будто показывая на весь Париж за стеклом.

– Ты знаешь, что это такое на самом деле? Это не «загадочность». Это – умение нести в себе целый мир, полный теней и света, и при этом не сломаться. Это память, которая сидит в крови. Это грусть по дому, которого, может, ты даже и не видела, но который в тебе есть. И это – невероятная, дикая сила, помогающая выжить. Посмотри на меня. Я приехала сюда с одним чемоданом, в страну, где меня не ждали. Голодала, хоронила близких, ходила по чужим домам с пишущей машинкой, чтобы заработать на хлеб. Я видела, как сильные мужчины гибнут, а слабые продаются. Но я – выстояла. Потому что во мне было это пламя. То самое, которое греет изнутри, когда снаружи – лед.

Поликсена замолчала, дав словам отзвучать в тишине. Затем ее взгляд смягчился, в нем появилось что-то глубоко личное, почти нежное. Она снова обвела глазами комнату, и ее губы тронула легкая, ностальгическая улыбка.

– Знаешь, моя дорогая, когда я смотрю на тебя, я думаю еще и о другом нашем, русском, даре. О даре вдохновлять. Мой внук – француз. В нем намешано много кровей, и русская – всего лишь одна из струек. Но, видит Бог, она – особенная.

Она повернулась к Нике, и ее лицо было строгим и прекрасным, как лицо пророчицы.

– И это пламя – оно притягивает. Как магнит. Оно покоряло сердца не потому, что мы были «загадочными барышнями». А потому, что мы несли в себе драму целой цивилизации на краю гибели. Мы были живым мостом над бездной. Для таких, как Поль Элюар, Пикассо, Дали, Луи Арагон, Ромен Роллан, мы, русские женщины, их жены, были олицетворением той самой страсти и трагедии, которую они искали для своего искусства. Мы были для них воплощенной Историей. Мой муж – аристократ, парижанин в пятом поколении, сказал мне однажды: «Я полюбил в тебе ту Россию, которую мы, европейцы, всегда боялись и всегда обожали. Ты принесла глубину и смысл в мой слишком упорядоченный и удобный мир».

Поликсена снова села, теперь уже ближе, и взяла руку Ники в свои сухие, теплые ладони. Ее голос снизился до проникновенного шепота, полного безграничной серьезности.

– Я не знаю, сколько мне осталось. Но я вижу это пламя теперь в тебе. Ты – носительница того же самого духа. В глубине глаз – та же самая страсть, та же готовность к подвигу. И к невероятной любви.

Она сжала ее руку с силой, которой от нее нельзя было ожидать.

– Поэтому я благословляю ваш союз. И тебя – на все. Не только на поиски перстня. А главное – на то, чтобы пронести это пламя через жизнь. Чтобы согреть им моего слишком уж практичного французского внука. Чтобы вдохнуть в вашу будущую семью эту самую душу, которая страдала, выжила и потому способна на абсолютное, безусловное творение жизни. Это и есть наше главное сокровище. И оно – бесценно. Ты поняла меня?

В ее глазах стояли слезы не умиления, а гордости. Гордости женщины, прошедшей через преддверие ада и знающей цену той неистребимой породе, к которой они обе принадлежали. Тишина в комнате после ее слов звенела как натянутая струна, готовая зазвучать великой, вечной мелодией.

Поликсена Валериановна подошла к старинному секретеру с инкрустацией, открыла потайной ящичек. Оттуда она извлекла не шкатулку, а небольшой предмет, завернутый в потемневший от времени шелковый платок.

Вернувшись, она села рядом с Никой, и ее движения приобрели торжественную, почти литургическую неторопливость. Она развернула шелк. В ее ладони лежала маленькая, потемневшая от времени и прикосновений иконка-складень. Та была размером не больше спичечного коробка, из темного, почти черного дерева или кости, со стершимися на углах позолоченными накладками.

– Вот моя самая главная ценность, – сказала Поликсена тихо. – Не по цене. По силе.

Она щелкнула крохотным замочком, и створки открылись. На внутренней стороне одной из них был тончайшей, почти невидимой вязью написан лик Богородицы с Младенцем – Казанской. Краски потускнели, золото нимба слилось с фоном, но сама иконка дышала такой сосредоточенной, тихой силой, что у Ники перехватило дыхание.

– Эта иконка прошла со мной весь путь.

Поликсена взяла руку Ники, перевернула ее ладонью вверх и положила в нее крохотный складень. Тот был на удивление теплым.

– Я отдаю его тебе. Не на время. Навсегда. Потому что мой путь подходит к концу, а твой – только начинается. На этом пути тебе может понадобиться больше, чем просто любопытство и смелость. Тебе понадобится защита.

Она сомкнула пальцы Ники над складнем, укрыв его своими ладонями сверху.

– Носи ее на шее. Прячь под одеждой. Не хвались ею. Пусть она будет твоей тайной силой и твоей последней надеждой. Если… – она сделала едва заметную паузу, – если окажешься в самой отчаянной ситуации… вспомни, что Она с тобой. И мы с тобой.

Поликсена отпустила ее руки. Иконка-складень лежала в ладони Ники, обжигая кожу не весом, а своей немой, накопленной столетием историей. Это был не сувенир и не красивый жест. Это была передача самой жизни, зашифрованной в дереве, красках и взглядах.

Ника молча, уже понимая, что слов здесь не нужно, подняла тонкую цепочку, продетую в колечко складня, и надела ее на шею. Прохладный металл коснулся кожи, а маленькая темная иконка упала за ворот блузки, легла рядом с сердцем. Она почувствовала ее вес – не граммовый, а исторический. Вес памяти и доверия.

– Прими эту старую историю о перстне как странную реликвию нашей общей судьбы. Но главное сокровище, которое я могу тебе передать, – это вера в то, что в тебе, русской девушке, есть та самая сила, что определяла судьбы и двигала искусство. И что с моим французским внуком вы сможете создать что-то прекрасное. Новое. Живое. Как делали мы – до вас.

Поликсена откинулась на спинку дивана, будто с нее сняли тяжелое, но почетное бремя. Сказано было главное. Передана была не только тайна, но и благословение. И путеводная нить из прошлого в будущее возникла теперь из этой теплой, глубокой связи между ними, родившейся здесь, в этой тихой парижской гостиной.

Венеция

В Венеции их ждал «Даниэли» – знаменитый дворец, с XIV века горделиво отражающийся в зеленой воде лагуны. Лестница, по которой они поднимались в свой номер, где когда-то останавливались Бальзак и Пруст, была головокружительным каскадом резного камня, мрамора, светлого дерева и позолоты, сводящим с ума туристов и кинематографистов. Ника поймала себя на мысли, что каждому ее шагу по этим ступеням вторит отдаленное эхо шагов писателей, аристократов, куртизанок и шпионов, приезжавших сюда на протяжении нескольких столетий. Ей и Тристану предстояло провести здесь неделю, и эта мысль делала каждый миг острым и игристым, как ледяное просекко.

Ужин Тристан заказал в отеле «Палаццо Гритти» – бывшем дворце одного из венецианских дожей. Столик у Большого канала, собравшего на своих берегах особняки и дворцы венецианской знати. Бесшумные официанты, звон хрусталя, плеск воды у самых ног, приглушенный смех. Это была та Венеция, за которую платят дорого и которая малознакома рядовому туристу.

Именно здесь, когда десерт еще не был закончен, а в воздухе витало ощущение совершенства, он и сделал «это». Не вставая на колено – это было бы слишком театрально, – Тристан просто взял ее руку, лежавшую на столе, и положил на ее ладонь маленькую темно-синюю бархатную коробочку.

Она подняла крышку. Внутри, на черном бархате, лежало кольцо. Не современное, а старинное: платиновая паутинка оправы держала не крупный, но невероятной яркости бриллиант в ореоле из мелких сапфиров цвета венецианского неба на закате.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.